Александр

КУПРИН

Париж интимный



Колесо времени

Александр Иванович Куприн

Александр Иванович Куприн. Колесо времени
Глава I. Гренадин
Глава II. Дурные мысли
Глава III. Суперкарго
Глава IV. Мишика
Глава V. Мария
Глава VI. «Колья»
Глава VII. Трактат о любви
Глава VIII. Мадам Дюран
Глава IX. Павлин
Глава X. Фламинго
Глава XI. Зенит
Глава XII. Тангенс
Глава XIII. Белая лошадь

Александр Иванович Куприн
Колесо времени

Глава I
Гренадин

До чего, дружок, я рад этой встрече! Посчитайка! От шестнадцатого года до двадцать восьмого — целых двенадцать лет не видались. Гарсон, еще два белого с гренадином! Вот, никак не могу приучить этого красавца наливать в стакан сначала чуточку гренадина, а потом уже доливать вином: так и смешивается скорее, и не надо их-них гнусных оловянных ложечек. Раз сорок ему говорил. Нет, привык по-своему, и ничем его не переупрямишь. Такой консерватор... Ах, милый мой, слезы мне глаза щипят. Встают давние, молодые годы. Москва. Охотничий клуб. Тестов. Черныши. Малый театр. Бега на Ходынке. Первые любвишки... Сокольники... Эх, не удержать, не повернуть назад колесо времени. Великое это свинство со стороны матери-природы.

Обидно вот что: встретились мы целый час назад. Ну, конечно, оба сначала не узнали друг друга, потом искренно обрадовались, крепко, по-братски, поцеловались. Но подумай: только теперь, и то с большим усилием — я нашел наконец

тебя тогдашнего, прежнего тебя, самого предприимчивого из нас троих, веселых мушкетеров. В первый миг — признайся — обоим нам стыдно и жалко было глядеть друг на друга: так ужасно изжевали нас челюсти беспощадного времени, а злая жизнь покрыла наши лица, как корою, бороздами, морщинами, жестокими складками. Но, слава богу, теперь оттаяла, отпала вся наросшая кора. Ты опять тот же. Дай мне еще раз крепко пожать твои руки! Так! Здравствуй. Приветствую тебя в славном городе Тулузе. Гарсон! Литр белого вина. И оросите его гренадином. Оно спокойнее, если с запасом.

Ты говоришь — многовато? Пустяки. Вино легкое, а гренадин только отбивает привкус серы. Смотри, не обижайся. Подметил я твой моментальный взгляд, искоса. Знаю, у тебя мелькнула мысль про меня: «Не опустился ли?» Нет, дружище: я человек не опустившийся, а так сказать, опустошенный. Опустела душа, и остался от меня один только телесный чехол. Живу по непреложному закону инерции. Есть дело, есть деньги. Здоров, по утрам читаю газеты и пью кофе, все в порядке. Вино вкушаю лишь при случае, в компании, хотя сама компания меня ничуть не веселит. Но душа отлетела. Созерцаю течение

дней равнодушно, как давно знакомую фильму.

Вот ты, давеча, вкратце рассказал о своем двенадцатилетнем бытии. Господи! что ни поворот судьбы, то целая эпопея. Какая-то дикая и страшная смесь мрачной трагедии с похабным водевилем, высоты человеческого духа со смрадной, мерзкой клоакой. Ты говорил, а я думал: «Ну, и крепкая же машинища человеческий организм!» А все-таки ты жив. Жив великой тоской по родине... жив блаженной верой в возвращение домой, в воскресающую Россию. Мои испытания, в сравнении с твоими, — киндершпиль, детская игра... Но в них есть кое-что занимательное для тебя, а меня тянет хоть один раз выплеснуться перед кем-нибудь стоящим. Трудно человеку молчать пять лет подряд. Так слушай.

Ты уж, наверное, догадался, что заглавие моего рассказа состоит только из трех букв «*Она*»? Но здесь будет и о моей глупости, о том, как иногда, сдуру, в одну минуту теряет человек большое счастье для того, чтобы потом всю жизнь каяться... Ах! не повернешь...

В четырнадцатом году, как, может быть, ты помнишь, я сдал последние экзамены в Институте гражданских инженеров, а тут подоспела война, и взяли меня в саперы. А когда набира-

лись вспомогательные войска во Францию, то и я потянул свой жребий, будучи уже поручиком-инженером. Во Франции я был свидетелем всего: и энтузиазма, с которым встречались наши войска, и нашего русского героизма, а потом, увы, пошли митинги, разложение...

После армистиса мне нетрудно было устроиться близ Марсели на бетонном заводе. Начал простым рабочим. Потом стал контрмэтром, потом — шефом экипажа и начальником главного цеха. Много нас, русских, служило вместе; всё бывшие люди различных классов. Жили дружно... Ютились в бараках, сами их застеклили, сами поставили печи, сами устлали полы матами. У меня был отдельный павильончик, в две комнаты с кухонкой, и большая, под парусинным тентом терраса. Питались из общего котла бараньим рагу, эскарго, мулями, макаронами с томатами. Никто никому не завидовал. Да, что я тебе скажу: надумали мы всей русской артелью взбодрить, на паях, свое собственное дело: завод марсельской черепицы. Рассчитали — предприятие толковое... Но вот тут-то и случился со мною этот перевертон. Хотя, кто знает, может быть, я и вернусь когда-нибудь к этому черепичному делу?

Сначала-то нам скучновато было. Особенно в

дни праздничные, когда время тянется бесконечно долго и не знаешь, куда его девать. Природа такая: огромная выжженная солнцем плешина, кругом вышки элеваторов, а вдали мотаются жиденькие, потрепанные акации и далеко-далеко синяя полоска моря — вот и весь пейзаж.

Одна только отрада в эти тягучие праздники и оставалась: закатиться в славный город Марсель, благо по ветке езды всего полтора часа... И компания у нас своя подобралась: я — бывший инженер, затем — бывший гвардейский полковник, бывший геодезист да бывший императорский певец, он же бывший баритон. Компания не велика, але бардзо почтива[Но очень добропорядочна (искаж. *польск.* ale bardzo poczciwa).], как говорят поляки.

Люблю я Марсель. Все в ней люблю: и старый порт, и новый, и гордость марсельцев, улицу Каннобьер, и Курс-Пьер-де-Пуже, эту сводчатую темнолиственную аллею платанов, и собор Владычицы, спасительницы на водах, и узкие, в размах человеческих рук, старинные четырехэтажные улицы, и марсельские кабачки, а также пылкость, фамильярность и добродушие простого народа. Никогда оттуда не уеду, там и помру. Впрочем, ты сейчас увидишь, что для та-

кой собачьей привязанности есть у меня и другая причина, более глубокая и больная.

Так вот: однажды в ноябре, в субботу — скажу даже число — как раз 8 ноября, в день моего ангела, архистратига Михаила, зашабашили мы, по английской моде, в полдень. Принарядились, как могли, и поехали в Марсель. День был хмурый, ветреный. Море, бледно-малахитовое, с грязно-желтой пеной на гребнях, бурлило в гавани и плескало через парапет набережной.

По обыкновению, позавтракали в старом порту неизбежным этим самым буйабезом, после которого чувствуешь себя так, будто у тебя и в глотке и в животе взорвало динамит. Пошлялись по кривым тесным уличкам старого города с заходами для освежения, посетили выставку огромных, слоноподобных серых кротких першеронов и в сумерки разбрелись, уговорившись завтра утром сойтись на старой пристани, чтобы пойти вместе на дневной спектакль: афиши обещали «Риголетто» с Тито Руффо.

Я всегда, по приезде в Марсель, останавливался в одной и той же гостинице, на другом краю города, в новом порту. Называлась она просто «Отель дю Порт». Это — мрачное, узкое, страшно высокое здание с каменными винтовыми лест-

ницами, ступени которых угнулись посередине, стоптанные миллионами ног. Там, на самом верху, была низкая, но очень просторная комната. Она мне нравилась. Окна в ней были круглые, как пароходные иллюминаторы. Пол покрывал настоящий персидский ковер превосходного рисунка, но измызганный подошвами до нитей, до основы, до дыр. На стенах висели в потемневших облупившихся золоченых рамах старинные гравюры из морской жизни. Эту комнату по субботам оставляли в моем распоряжении.

С хозяевами отеля я уже давно успел подружиться. Долго ли нам, русским, а в особенности ярославцам, как я?

Хозяин был добродушный четырехугольный неповоротливый человек. Марселец родом и бывший моряк, весь в морщинах, с ясным взором и спокойной душой. Хозяйка Аллегрия, в противоположность своему флегматичному мужу, была подвижная испанка, сильно располневшая, но еще не потерявшая тяжелой, горячей южной красоты. Это она была настоящей самодержавной правительницей дома, а прислуживал во всех семи этажах и внизу, в ресторане, некто Анри, с виду настоящий наемный убийца, а по характеру самый веселый, проворный и услужливый ма-

лый во всей Марсели. Куда этому чернокудрому красавцу! Гарсон, еще один гренадин с белым!

Часов в семь я пришел в отель пообедать, занял уютный столик в углу, заказал себе кое-что и в ожидании спокойно сидел, думая о различных случайных пустяках и лениво оглядывая публику. Ресторан этот, на редкость для невзрачной части города, просторный и светлый, не только опрятно, но даже кокетливо содержимый. Мы с тобой сходим туда когда-нибудь, если будем в Марсели. Двери выходили на гавань, и от нее доносились вздохи и всплески волн и запах моря.

Какие диковинные посетители за столами!

Арабы в длиннейших бурнусах, перекинутых через плечо живописными складками: фески красные, черные и вишневые; зеленые и белые тюрбаны, чалмы, плетенные из маисовой соломы, итальянские колпаки, маленькие, полуголые, похожие на обезьян моряки, черные и блестящие, как вакса, с курчавыми, взбитыми, подобно войлоку, волосами; матросы разных стран, сидящие отдельными кучками и крепко стучащие стаканами о столы, пестрый скачущий гомон разноцветных слов, и откуда-то — лень поглядеть откуда — вкрадчивые звуки гитары, сопровождающие сладкий тенор, поющий ита-

льянскую песенку о том, как три барабанщика возвращались с войны, и у одного барабанщика был букет роз, а дочь короля, сидевшая у окошка, попросила: «Послушай, барабанщик, дал бы ты мне эти розы...» — «Дам тебе розы, если выйдешь за меня». А она отвечает: «Послушай-ка, барабанщик, пойди и спроси моего отца». — «Senti Sor Pré!»[Спроси у отца (*неаполит.диалект*).]

И вдруг произошел скандал. Какие-то цветные моряки, не то шоколадные, не то оливково-зеленого цвета, все, как на подбор, маленькие и сухие, но точно сделанные из стали, выпили лишнее, начали шуметь, перессорились и уже готовились пустить в ход кривые тонкие ножи. Все они орали одновременно на каком-то диком гортанном языке, похожем то на клекот хищных птиц, то на свиное хрюканье, страшно выкатывая желтые белки и скаля друг на друга матово-черные зубы. И вот Аллегрия (что значит по-испански — «веселость») накидывает на себя яркую мантилью с бахромой, вытаскивает из волос розу, берет ее в зубы, подбоченивается и вызывающей походкой, раскачивая толстыми бедрами, с головой, гордо закинутой вверх, подходит к столу скандалистов. Интересно было глядеть на нее в эту минуту. Вся она точно преобразилась, помолодела и внезап-

но похорошела. Гневные карие глаза, ноздри, раздутые, как у арабской кобылы, красная роза в красных губах... Коротким повелительным движением, вытянув перед собой руку, она указала на дверь и с удивительным выражением высокомерного презрения, сквозь стиснутые зубы произнесла:

— Сортэ![Прочь! (от *фр.* sortez)]

Ах! Что дала бы Сара Бернар за такой жест и за такую интонацию!

Матросы так и остановились среди перебранки, забыв даже закрыть рты, и один за другим, гуськом, вышли осторожно из ресторана на согнутых ногах на цыпочках, скрипя тяжелыми морскими башмаками. Этот водевильный уход, в связи с величественной позой Аллегрии, был полон дикого комизма. Я захохотал так невольно, так свободно, как смеялся только в детстве на клоунских пантомимах.

И тут же я почувствовал, что спинка моего стула слегка трясется. Я взглянул вверх и сейчас же встал, чтобы дать место даме. И вот тут-то... нет, не бойся, я не слезлив... тут-то я с восторгом понял, что милостливая судьба или добрый бог послали мне величайшее счастье в мире. Почувствовал сердцем, но умом еще не понял.

Красива ли была она? Этого я не сумею сказать. Она была прекрасна. Если бы я был беллетристом — черт бы их всех побрал, — я бы смог ее описать: губы коралловые, зубы жемчужные, глаза как черные бриллианты или бархат, роскошное тело и так далее, и так далее, и так далее.

Она еще продолжала смеяться. Она сняла перчатки и бросила их на мой стол. Она аплодировала шутя хозяйке, и Аллегрия ответила ей серьезным поклоном. Хороша ли она была? И опять я скажу — не знаю. Знаю только, что о ней одной я мечтал с самых ранних, с самых мальчишеских дней. Мне показалось, что я знаю ее очень давно, лет двадцать, и как будто бы она была всегда моей женой или сестрой, и если я любил других женщин, то лишь — в поисках за ней.

Опять наши глаза сошлись в улыбке. Я думаю, что ничто так не соединяет людей, как улыбка. И не с улыбки ли начинается каждая истинная любовь?

Она села рядом со мной. На ней было черное шелковое платье, с черными кружевами. Она не была ни надушена, ни напудрена. Ее тело благоухало молодостью и свежестью.

Она спросила:

— Что вы себе заказали? Мне лень выбирать по

прейскуранту.

Я ответил:

— Устрицы, рыбу соль, швейцарский сыр и бананы.

— Закажите то же и мне. А вино будет мое. Согласны?

И, не дожидаясь моего ответа, она постучала перстнем по мрамору и позвала гарсона.

Анри принес во льду бутылку шампанского вина, и когда я увидел марку «Мумм Кордон Руж», то немного испугался: если эта женщина так широко распоряжается, то во сколько же десятков франков она мне сегодня обойдется? Хватит ли? Говорю тебе, — в этот день я был дурак, а главное — так и остался дураком во все последующие дни. Я пробовал было сделать моему другу Анри строгие глаза, но напрасно, это уже был не мой Анри, а ее слуга и раб.

Да она почти и не пила. Ей дали маленькую серебряную ложку. Она взболтала вино, и когда оно выпенилось, только чуть-чуть пригубила. Ела она с удовольствием и очень красиво. А я сидел и думал: кто же она, эта женщина? Актриса? Международная шпионка? Очень дорогая кокотка? Развратная искательница приключений? Или может быть... она работает на процентах в этом

кабачке? Не аргентинка ли она?

Анри принес закрытый счет, но подал его не мне, а ей. И опять не помогли мои гневные глаза. А она, небрежно взглянув на счет, только кивнула слегка головой. Тогда я рассердился, да и какой бы мужчина не рассердился бы на моем месте? Рассердился и обнаглел.

И спросил грубо:

— А кофе мы будем пить у меня наверху? Не так ли? Анри, принесите нам наверх кофе и ликеры.

Ах, аллах Акбар! Если бы мне еще раз в жизни услышать веселый стук ее каблучков, когда она быстро всходила на мой седьмой этаж! Если бы еще раз поглядеть, как она сама заботливо ухаживала за патентованным кофейным самокипом, как ласково она мне разрешила: «Курите, если хотите!» И не я, а она удлинила наш поцелуй. И она же первая отвела деликатно мои руки...

— Потом, — сказала она.

Глава II
Дурные мысли

— Я прошу вас сесть, — сказала она, — и выслушать меня спокойно. Я хочу, чтобы вы поняли меня.

Она опустилась на диван, так близко ко мне, что наши плечи часто соприкасались, и я чувствовал порою лучистую теплоту и упругость ее тела. Сначала я думал: «Ну, к чему эти объяснения, после внезапного и фамилиарного знакомства? Ведь она не девочка, ведь ей лет тридцать, тридцать пять, — и, конечно, не девушка. Она, несомненно, знает, что ходят женщины к холостым мужчинам вовсе не для того, чтобы посмотреть редкие японские гравюры или, прихлебывая ликеры, развлечься дружеским разговором о спорте и последних премьерах. А особенно ночью».

Не сделал ли я с самого начала грубейшую ошибку против старой тактики любви? Ведь давно-давно сказано, что самые сладкие поцелуи вовсе не те, которые выпрашиваются или позволяются, а те, которые отымаются насильно; что каждая женщина, даже вполне нравственная, во-

все не прочь от того, чтобы ее стыдливость была преодолена пылким нетерпением, и, наконец, что параграф первой любовной войны гласит: потерянный удобный момент может очень долго, а то и никогда не повториться. И так далее... Вспомнился еще мне мимоходом немного рискованный анекдот из жизни веселой и прелестной графини де Вальвер, рассказанный ею самою, уже в ее преклонных годах.

На ее карету напали в Сенарском лесу разбойники. Предводитель банды, кстати, молодой, очень красивый и вежливый человек, не удовольствовался тем, что отобрал у графини все ее деньги и драгоценности, которые она отдала без сопротивления, но, — о, ужас! — очарованный ее цветущей красотой и невзирая на ее мольбы и крики, злодей отнял у нее то сокровище, которым женщина дорожит более всего на свете.

— Представьте, дамы и господа, — говорила де Вальвер, — вы можете мне не верить, но был один момент, когда я, вся в слезах, не могла не воскликнуть: «Oh, mon voleur, oh, mon charmant voleur!»[О, мой вор, о, мой очаровательный вор! *(фр.)*]

Да, мой милый, такие анекдоты и дешевые афоризмы очень в ходу между нами, мужчинами, и

не оттого ли мы так часто выходим из любовных битв мокрыми петухами и меланхолическими ослами? Уж лучше верить мудрому Соломону, который из своего обширнейшего любовного опыта вывел одно размышление: никто не постигнет пути мужчины к сердцу женщины. И надо тебе сказать правду: после нескольких слов моей странной незнакомки я почувствовал себя со стыдом весьма маленьким, весьма обыденным и весьма пошленьким человечком.

— Я не скрою, — говорила она ласково, — я видела вас раньше, и даже не один раз. Видела сначала на вашем цементном заводе. Я туда заехала за директором, но не выходила из автомобиля.

Меня очень приятно поразило, как вы разговаривали с патроном: руки в карманах рабочей блузы, короткие уверенные жесты, холодная вежливость, ни малейшего вида услужливости. Такую независимость у подчиненного можно увидеть только у англичанина да, пожалуй, у американцев. У французов — реже. Я подумала было сначала, что вы англичанин, но потом решила: нет, не похоже.

Когда мы с директором ехали в Марсель, то он в разговоре как-то сказал, что у него на заводе много русских и что он ими очень доволен. Ра-

ботают не только руками, но и головой. Им не только не жаль, говорил он, повышать плату, но даже выгодно.

Тут я и поняла, почему ошиблась, приняв вас за англичанина. В вас очень много этого русского... как бы сказать, этого quelque chose de «Michica»[Нечто от «мишúки» *(фр.)*.].

Я удивился:

— Много чего?

— De «Michica», чего-то медвежьего. Пожалуйста, простите, я не хотела сказать ничего обидного. Это скорее комплимент. Я очень люблю всех животных и, как только есть возможность, хожу в зоологические сады, в зверинцы, в цирки, чтобы полюбоваться на больших зверей и на их прекрасные движения. Но медведей я обожаю! Напрасно на них клевещут, говоря, что они неуклюжи. Нет, несмотря на свою ужасную силу, они необыкновенно ловки и быстры, а в их позах есть какая-то необъяснимая тяжелая грация. Один раз, не помню где, я увидела в клетке необычайно большого бурого медведя. У него шерсть на шее была бела, точно белое ожерелье, а на клетке написано: «Мишика. Сибирский медведь». Сторож мне сказал, что этот медведь был подарен французскому полку русскими солдатами, ко-

торые после армистиса возвращались домой, в Сибирскую Лапландию. И с тех пор я уже не могу мысленно называть русских иначе, как «Мишика».

Я не мог не засмеяться. Она вопросительно поглядела на меня.

— Очень странное совпадение, — сказал я. — Мишика — это и мое имя, данное мне при крещении.

И я объяснил ей, как имя Михаил у нас превращается в Мишу и Мишку и как, неизвестно почему, наш народ зовет повсюду медведя Мишкой.

— Как странно! — сказала она и замолчала на несколько минут, пристально глядя на абажур висячей лампы. Потом, точно насильно оторвав глаза от огня, она спросила:

— Вы суеверны?

Я признался, что да.

— Как странно, — повторила она задумчиво, — как странно... Неужели это фатум? — И крепко приложила теплую маленькую ладонь к моим губам. И когда она потом говорила — то постоянно: или нежно гладила мои щеки, или, отделивши вихор на моей голове, навивала колечками волосы на свои пальцы и распускала, или клала руку

на мое колено. Мы были вдвоем, мои губы еще помнили ее недавний неторопливый поцелуй, но предприимчивость кентавра уже покинула меня.

Она продолжала:

— Я люблю русских. В них бродит молодая раса, которая еще долго не выльется в скучные общие формы. Я ценю их мужество, твердость и ясность, с какой они несут свои несчастия. Мне нравится, как они поют, танцуют и говорят. Их живопись изумительна. Русской литературы я не знаю... Пробовала читать, чувствую какую-то большую внутреннюю силу, но не понимаю... не умею понять. Скучно...

— В другой раз я видела вас в соборе Notre Dame de la Garde, вы ставили свечку Мадонне. В следующий раз я видела, как вы с вашими друзьями — вас было трое — наняли лодку у старого кривоглазого Онезима и поплыли на остров Иф. Скажу вам без лести, вы отлично гребете. И последний раз — сегодня. Признаюсь, я была немного экстравагантна, и вас это немного покоробило. Не правда ли? Но уверяю вас, я не всегда бываю такая. Вы не поверите, я иногда очень застенчива, а застенчивые люди склонны делать глупости. Мне давно хотелось познакомиться с вами. Мне

казалось, что в вас я найду доброго друга.

— Друга! — вздохнул я меланхолично.

— Может быть, и больше. Я ничего не знаю наперед. Не придете ли вы завтра в полдень в этот же ресторан? Предупреждаю, я вам скажу или очень, очень много, или ничего не скажу. Во всяком случае, завтра в двенадцать. Согласны?

— Благодарю вас. Я здесь ночую. Может быть, проводить вас?

— Да, только до улицы. Внизу меня ждет автомобиль.

Я светил ей, спускаясь по крутой лестнице. На последней ступеньке я не выдержал и поцеловал ее в затылок. Она нервно вздрогнула, но промолчала. Удивительно: ее кожа нежно благоухала резедой, так же, как ею пахнет море после прибоя и шейка девочки до десяти лет. Мальчишки — те пахнут воробьем.

«Monsieur Michica et madame Reseda», — подумал я в темноте по-французски и улыбнулся.

Глава III
Суперкарго

Вообрази себе большую бетонную комнату, в зеленоватом тусклом освещении. В ней нет ничего, кроме деревянного, некрашеного стола, на котором аккуратными рядами разложены штук тридцать-сорок голландских печных кафелей, ну, вот тех самых изразцов с незатейливым синим рисунком, которые нам так были любы на наших «голанках». И на каждой из этих плиток мне приказано кем-то раскладывать правильными линиями, в строгом порядке, старые почтовые марки разных цветов, годов и стран, каждую — по своей категории. Но огромная бельевая корзина, стоящая на полу, подле меня, переполнена марками свыше верха. Когда, черт возьми, окончу я эту идиотскую работу? Глаза мои устали и плохо видят; руки тяжелы, неловки и не хотят меня слушаться; марки прилипают к пальцам и разлетаются во все стороны от моего дыхания.

Но не это самое главное. Самое важное в том, что окончания моей работы ждет нетерпеливо какая-то знакомая, но забытая мною, непонятная

женщина. Она невидима, но угадывается мною. Она — вроде колеблющейся неясной фигуры духа на спиритических сеансах или туманного бледного образа, как рисуют привидения на картинах, и в то же время я знаю, что она телесная, живая и теплая, и чем скорее я разложу по местам марки, тем скорее увижу ее в настоящем виде. Надо только спешить, спешить, спешить...

Я просыпаюсь от спешки. Ночь. Тьма. Далеко в порту тонко, длинно и печально свистит катер или паровозик. Я никак не разберусь, где левая, где правая сторона кровати, и долго шарю руками в черной пустоте, пока не натыкаюсь на холодную стену. Дыхание у меня коротко, сердце томится. Нахожу кнопку и надавливаю ее. Свет быстро разливается по комнате. Смотрю на часы: какая рань. Два без десяти.

И опять засыпаю. И опять гладкие, зеленоватые бетонные стены, опять белые сине-узорчатые изразцы, опять капризные, проклятые марки... опять загадочный, видимый и невидимый образ женщины, и опять просыпаюсь с томлением в сердце. Курю, пью воду, гляжу на часы, укладываюсь на другой бок и опять засыпаю и вижу тот же самый сон, и снова и снова... Мучение. Я знаю давно, что эти надоедливые, какие-то

многостворчатые составные выдвижные сны снятся после больших душевных потрясений или накануне их.

Последний раз я проснулся оттого, что моя постель внезапно затряслась от мелких содроганий. Ревел в порту огромный океанский пароход. Ревел поразительно низко, густо и мощно, точно под моей комнатой, а на черном фоне этого апокалипсического рева вышивал золотые спирали своей утренней песни ничем непобедимый петух. Из узких прямых прорезей в окнах струился параллельными линиями голубоватый свет утра.

Ночные сонные образы еще бродили неуловимо в полутемной комнате: бетонная комната, изразцы, марки, нелепый труд, отяжеление сердца... Сны ведь долго не покидают нас; их вкус, их тон иногда слышатся на целый день. Но они таяли, таяли, а когда я распахнул настежь ставни, то исчез и их отдаленный отзвук.

Было семь часов. Можно было бы разбудить Анри, но я предпочел спуститься вниз. Ресторан был еще заперт, а выход из отеля был на внутреннем крючке. Я вышел на улицу, прошел налево и в маленьком кабачке угольщиков выпил кофе с ромом. Потом вернулся домой и, не раздеваясь, крепко заснул — без снов.

Точно в десять часов, как и было условлено, ко мне вошел Анри с кофеем, молоком и круассанами. Обменялись добрым днем. Я льстил Анри. Я его назвал и моим стариком, и моим добрым другом. (Ведь мы были давно знакомы.)

Я его спросил:

— Скажите, Анри, кто была эта вчерашняя дама?

Он сделал глупое лицо — скосил глаза и слегка разинул рот.

— Дама, мсье? Какая дама?

У этого бандита был совершенно невинный вид.

Я рассердился.

— Черт бы вас побрал, мой очень дорогой Анри! Да та самая дама, которая со мною сидела вчера, рядом, в ресторане, внизу.

— Увы, я не помню, мсье. Как хотите, не помню.

— Ну, та самая, которая потребовала шампанское «Мумм».

— Извините меня, мсье, уверяю вас, что не помню.

— Ах, черт! Наконец, та самая, которая уплатила весь счет, хотя я и показывал вам знаками, что вы меня ставите в самое идиотское положение. Не

стройте же дурака, мой старый Анри, прошу вас.

Но Анри был холоден, непроницаем и равнодушен.

— Что вы хотите от меня, дорогой господин? У нас в ресторане бывают ежедневно сотни мужчин и дам. Трудно всех упомнить. Добрый день, мсье.

— Нет, нет, постойте. Та самая дама, для которой вы подавали сюда, вот в эту комнату, ликеры.

— О, мсье, вы сегодня проснулись в дурном расположении духа... Простите, что я покидаю вас. Мне еще надо обслужить двадцать комнат. Добрый день, мсье.

И он исчез. Такой злодей!

Кому неизвестен странный каприз времени: когда торопишься, когда каждый миг дорог, то часы летят, как минуты. Но когда ждешь или тоскуешь — минуты растягиваются в часы. Я не знал, куда девать эти два часа. Зашел побриться, купил цветов — гвоздики и фиалок, — купил засахаренных каштанов, и еще много у меня оставалось досуга, чтобы побродить по набережной. После вчерашнего дождя и шторма был ясный солнечный день, тихий и теплый, и вся Марсель казалась заново вымытой. Я с удовольствием, расширенными ноздрями втягивал в себя крепкие запахи большого морского порта. Пахло йодом,

озоном, рыбой, водорослями, арбузом, мокрыми свежими досками, смолой и чуть-чуть резедою. В груди моей вдруг задрожало предчувствие великого блаженства и тотчас же ушло.

Ровно в двенадцать часов я спустился в ресторан. Моя знакомая незнакомка была уже там и сидела на том же месте, что и вчера вечером. На ней было темно-красное пальто и такая же шляпка, на плечах широкий палантин из какого-то зверька, порыжее соболя, но такого же блестящего. О, боже мой, как она была прекрасна в этот день, я не могу, не умею этого рассказать.

Она была не одна. Против нее сидел молодой моряк. О профессии его легко можно было догадаться по золотым якорям, по золотому канту на рукавах и еще по каким-то золотым эмблемам... Я не знаю, как у других, но у меня всегда, с первой минуты знакомства с человеком, укрепляется в памяти, кроме его разных имен и званий, еще какое-то летучее прозвище, моего собственного мгновенного изобретения. Оно-то и остается всего прочнее в памяти. Этого молодого моряка я мысленно назвал «Суперкарго». Откровенно говоря, я не знаю, что это за морской чин. Знаю только, что гораздо ниже шкипера, но немного выше матроса. Что-то около боцмана... Так он и

запал у меня в память с этим титулом.

Заметил я также, что он очень красив. Но все это только по первому быстрому поверхностному взгляду. Несколько минут спустя я убедился, что он не только очень, но исключительно, поразительно, необычайно хорош собою. Не скажу — прекрасен. Прекрасное — это изнутри. Иногда вот бывает дурнушка, совсем не видная и плохо сложенная, с веснушками около носа. Но как поднимет вдруг ресницы, как покажет на мгновенье золотое и ласковое сияние глаз, то сразу чувствуешь, что перед этой прелестью померкнет любая патентованная красавица. Видел я также лицо одного морского капитана во время тайфуна в Китайском море. В обычной жизни был он уж очень неказист, такая распрорусская лупетка, и нос картофелем. Но во время урагана, когда вокруг рев, грохот, крики, стоны, ужас, близкое дыхание смерти... когда он держал в своих руках жизнь и волю сотен человек — что за прекрасное, что за вдохновенное было у него лицо!

Но в сторону беллетристику. Скажу просто, что этот суперкарго был красив совершенной итальянской, вернее даже, римской красотой. Круглая римская голова, античный профиль, великолепного рисунка рот. Его волнистые брон-

зовые волосы выгорели и пожелтели на концах. Лицо так сильно загорело, что стало, как у мулата, кофейным. И большие блестящие голубые глаза. Ах, знаешь, никогда мне не нравилось, если на смуглом фоне лица — светло-голубые глаза; в этой комбинации какая-то жесткость и внутренняя пустота. Ну, вот, как хочешь, не верю и не верю я таким лицам.

Я наклонился, целуя, по русскому, довольно-таки нелепому обычаю, руку у дамы и тотчас же, не глядя, почувствовал на своей спине враждебный взгляд моряка.

Она сказала:

— Познакомьтесь, господа.

Стоя, я уже готовился протянуть руку, но сразу сдержался. Суперкарго, не вставая, тянул руку как-то боком ко мне, что, конечно, можно было принять за невежество или небрежность. Я кивнул головой и сел.

Разговор за столом еле-еле вязался. Говорили о погоде, о Марсели, о кораблях. Я заказал себе вермут с касиссом. Дама спросила тот же аперитив. Суперкарго вдруг повернулся ко мне.

— Вы, кажется, иностранец, мсье, если я не ошибаюсь, — сказал он и слегка прищурил голубые глаза.

Я ответил сухо:

— Мне кажется, что мы все здесь в Марсели иностранцы?

— А не могу ли я спросить, какой нации мсье?

Тон его был нагл. Жестокость взгляда и очень плохое французское произношение усиливали мою антипатию к нему. Во мне закипало раздражение, и в то же время я чувствовал себя очень неловко. Ох, не терплю я таких трио, когда около хорошенькой женщины двое мужчин оскаливают друг на друга клыки и готовы зарычать, как ревнивые кобели, простите за грубое сравнение.

Но я еще не терял самообладания.

Я ответил, по возможности, спокойно:

— Я русский.

Он искусственно засмеялся.

— А-а. Русский...

— Я из великой России, где образованные люди знали, что такое обыкновенная вежливость.

Он сказал с деланой балаганной надменностью:

— И вы, вероятно, дали бы мне маленький урок этой вежливости, если бы у вас хватило на это смелости? Вы, русские, известные храбрецы. Вы это блестяще доказали, бросив во время войны своих союзников.

Тут я должен, кстати, сказать об одном моем свойстве, вернее, об одном органическом пороке. По отцу я, видишь ли, добрый и спокойный русопет, вроде ярославского телка, но по материнской линии я из татар, в жилах которых текут капли крови Тамерлана, хромого Таймура, и первый признак этой голубой крови — неистовая, бешеная вспыльчивость, от которой в ранней молодости, пока не обуздал себя, я много и жестоко пострадал. И вот, глядя теперь в упор на итальянца, я уже чувствовал, как в голову мне входит давно знакомый розовый газ — веселый и страшный.

Я быстро встал. Встал и он момент в момент со мною вместе, точно два солдата по команде.

У меня уже были готовы, уже дрожали на губах те злые, несправедливые слова, после которых мужчины стреляют друг в друга или, схватившись, яростно катаются по полу. Я хотел ему напомнить об известной всему миру резвости итальянских ног во всех войнах при отступлении, у меня был также наготове Негус Абиссинский, его голые дикари, вооруженные дротиками, и паническое бегство храбрых, нарядных берсальеров.

Я увидел, как его рука быстро скользнула за

пазуху, но в тот момент не придал этому жесту никакого значения. Розовый газ в моей голове густел и делался красным.

— Siede (сядь)! — раздался вдруг повелительный женский голос. Это крикнула моя незнакомка, и суперкарго моментально опустился на стул. В этой стремительной послушности было, пожалуй, что-то комическое. Ведь во всяком итальянце живет немного от Пульчинелло. Но рассмеялся я лишь полчаса спустя.

Я пришел в себя и провел рукой по лбу. Меня немного качнуло в сторону.

Я сказал, стараясь взять беззаботный тон:

— Впрочем, мне кажется, что мы совсем напрасно завели при даме политический и национальный диспут. Ведь это такая скучная материя...

И прибавил, обращаясь к суперкарго:

— Но если угодно будет продлить наш интересный разговор, я к вашим услугам. Я остановился здесь же, в отеле, номер семнадцать. Всегда буду рад вас увидеть.

Суперкарго хотел было что-то ответить, но она одним легким движением руки заставила его замолчать. Я низко поклонился даме. Она сказала спокойно:

— Прошу вас, не уходите из своей комнаты.

Через десять минут я приду к вам.

Поднимаясь по лестнице, я вдруг вспомнил быстрый, коварный жест итальянца и понял, что он полез за ножом. Мне стало немножко жутко.

«Ведь, пожалуй, мог бы, подлец, распороть мне живот».

Глава IV
Мишика

Признаюсь, нелегко у меня было на сердце, когда я ходил взад и вперед по моей отдельной комнате, похожей на просторную низкую каюту. Волнение, вызванное внезапной ссорой с итальянским моряком, еще не улеглось во мне.

Зачем она познакомила нас? Что у нее общего с этим смуглым и голубоглазым Антиноем? Чем объяснить его дерзкую придирчивость? Неужели ревностью? Как мне теперь держать себя с моей прекрасной дамой? Вчера она обещала сказать мне много-много или ничего... Что она скажет?

Я попал в какой-то запутанный ребус. Но — говорю правду — ни одна косая, ни одна враждебная мысль не возникала во мне по поводу моей странной незнакомки. Я вызвал в памяти ее прелестное лицо, ее милый голос, ее руки и чувствовал, что верю ей непоколебимо.

В дверь громко постучали тройным ударом. Я крикнул «entrez»[Войдите *(фр.)*.] и поднялся навстречу.

В комнату вошел суперкарго. Теперь, когда он

был на ногах, я увидел стройность и крепость его сложения и быстро подумал: неужели опять ссора? Розовый воинственный газ уже испарился из моей головы. Новое буйное опьянение гневом мне представлялось скучным и противным.

Он шел ко мне с открытой протянутой рукой, с ясными и смелыми глазами.

— Простите меня, — сказал он просто. — Я был виноват, затеяв этот глупый разговор, и я недостойно держал себя.

Мы пожали друг другу руки. Он продолжал спокойным, но внутренне дрожавшим голосом:

— Вся беда в том, что я увидел, как вы поцеловали ее руку. Я забыл, что у вас на севере это — самый простой обычай. У нас же, на юге, целуют руку только очень близкой женщине: матери, жене, сестре. Я не знал, как объяснить ваш жест: фамильярностью, дерзостью или... или... еще чем-нибудь. Но я уже принес вам извинение. Позвольте мне выпить воды.

На моем ночном столике не было стакана. Он взял графин и стал пить из горлышка с такой жадностью, что я слышал его глотки и я видел, как дрожала его рука.

Напившись, он вытер рот ладонью и сказал с суровой торжественностью:

— Да хранит синьору Пресвятая Ностра Дама делля Гварда Марсельская и все святые.

Я не мог удержаться от вопроса:

— Вы говорите так, как будто «синьора» близка вам?

Он отрицательно замотал указательным пальцем перед носом.

— Нет, нет, нет, нет. Можно ли быть близким солнцу? Но кто мне может запретить обожать синьору? Если бы ей предстояло уколоть свой маленький палец иголкой, то я, чтобы предотвратить это, отдал бы всю мою кровь... Прощайте же, синьор. Я думаю, вам не трудно будет передать синьоре, что мы расстались друзьями.

Еще раз мы протянули друг другу руки. Пожатие его мозолистой ладони до боли сдавило и склеило мои пальцы.

Я внимательно взглянул на него и поразился тому, как чудесно изменились его глаза. В них уже не было прежней неприятной жестокости: они посинели и смягчились; они блестели теми слезами, которые выступают, не проливаясь. Отвратительно видеть плачущего мужчину, но когда у сильного и гордого человека стоят в покрасневших глазах эти теплые слезы, которые он сам каким-то усилием воли заставит высохнуть,

то, право, лицо его на мгновение становится прекрасным.

— Баста! — сказал моряк, бросая мою руку. — Да хранит Бог синьору: она лучше всех на свете. Я уже никогда больше не увижу ни ее, ни вас.

— Почему вы так говорите? Мир не особенно велик. Может быть, встретимся.

— Нет, — сказал он с покорным вздохом, — я уверен: раньше, чем кончится этот год, — я утону в море. Гитана в Кадиксе предсказала мне два события, которые произойдут почти рядом. Одно случилось сегодня. Прощайте, синьор.

Он простился и вышел, не оглянувшись. Мне слышно было, как он сбегал по каменной лестнице с той быстротой, с какой только молодые моряки умеют спускаться по трапам.

Я ждал ее. И слышал биение своего сердца. Кто из нас не волновался перед свиданием, на котором нам обещано много-много? Но теперь было совсем другое. Я чувствовал, что за дверью молчаливо стоит моя судьба и вот-вот готова войти ко мне. Я испытывал ту странную усталость, ту ленивую робкую вялость, которые, как отдаленное пророчество, говорят нам о близости великого жизненного перелома. Я думаю, что такое духовное краткое изнеможение должны переживать

монархи перед коронацией и приговоренные к смерти в ожидании палача.

Издали-издали, снизу, до меня донесся быстрый, легкий, четкий стук ее каблучков. Я поспешил спуститься и встретился с ней на площадке. Она обеими руками обняла мою шею. Прикасаясь губами к моим губам, она жарко шептала:

— Мишика, мой милый Мишика, я люблю тебя, Мишика. Мы свободны, о мой Мишика, о мой милый Мишика!

Так мы останавливались на каждой площадке. А когда мы пришли в мою комнату, она нежно взяла меня ладонями за виски, приблизила мое лицо к своему и, глядя мне глубоко в глаза, сказала со страстной серьезностью:

— Я твоя, Мишика... В счастии и в несчастии, в здоровье и в болезни, в удаче и неудаче. Я твоя до тех пор, пока ты хочешь, о мой возлюбленный Мишика!

Потом вдруг встряхнула головой и сказала:

— Я велела завтрак принести к тебе, наверх. Будем одни, не так ли, Мишика?

Глава V
Мария

В это воскресенье я совсем позабыл о моих заводских друзьях, которые, по уговору, дожидались меня в старом порту, против старого ресторана Бассо, знаменитого на весь мир своим огненным буйабезом. Забыл я также и о самом заводе: не поехал туда ни в понедельник, ни во вторник, взял по телеграфу отпуск. Эти дни навсегда, неизгладимо врезались в моей памяти. Я помню каждое слово, каждую улыбку; теперь это — моя тайная шкатулка с сокровищами...

Не знаю, может быть, было бы и некстати, что я заговорил о суперкарго, но мне это казалось каким-то неизбежным долгом. Я рассказал ей о нашем искреннем примирении, о его красивом мужестве, о его благоговении перед ней и о том, как он благословлял ее имя. Когда я упомянул о его предчувствии близкой смерти, мне показалось, что она побледнела. Немного помолчав, она сказала:

— Надо, чтобы ты знал все. Почти год назад я его любила. И он любил меня. Нам пришлось надолго

расстаться. Он должен был идти в кругосветное путешествие. Мы не давали друг другу клятв во взаимной вечной верности. Такие клятвы — смешной и обидный вздор. Я сказала только, что буду ждать его возвращения и до этого срока не полюблю никого. Первое время я, правда, немного тосковала. Но не умею сказать почему — время ли постепенно заглушало мои чувства, или любовь моя к нему была не очень глубока — образ его скоро стал как-то стушевываться в моем воображении, расплываться, исчезать. Наконец, я позабыла его лицо. Я старалась воскресить в памяти наши счастливые часы и минуты... и не могла. Я поняла, что не люблю его больше. Он знал меня. Он верил мне. Он знал, что никакая сила не заставила бы меня изменить ему в его отсутствие.

Я тебе должна признаться — хотя это мне немножко и стыдно, — что когда я увидела тебя в первый раз, то мгновенно почувствовала, что ты будешь моей радостью и я буду твоей радостью. Нет, нет, я себя не воображала какой-то победительницей, хищницей, соблазнительницей, но я ясно почувствовала, что очень скоро наши сердца забьются в один такт, близко-близко друг к другу. Ах! эти первые, быстрые, как искра в

темноте, летучие предчувствия! Они вернее, чем годы знакомства.

Мне трудно было удерживать себя, и я сделала несколько маленьких глупостей вчера.

Ты простил меня. Но все-таки я не изменила. В любви, даже в прошлой, нет места лжи.

Я ему сказала, что люблю тебя. Он сразу покорился судьбе. Это не я заставила его подняться к тебе. Он сам понял свою вину. Он принял тебя за обыкновенного нагловатого искателя приключений, и когда ты поцеловал мою руку — это показалось Джиованни вызовом ему и неуважением ко мне...

Легкая, почти неуловимая вуаль печали скользнула по ее лицу и прошла. Она сказала:

— Довольно о нем! Не правда ли? Его нет между нами.

Я согласился. Да. Но горька и тяжела мне была эта странная минута, когда вся Марсель, глубоко погруженная в темноту ночи, беззвучно спала. Я невольно снова вспомнил моего предшественника таким, каким я его видел у меня, при прощании, и невольно подумал о себе. Я себя увидел грузным, с ленивой перевалкой, серые глаза широко расставлены в стороны, курчавые соломенные волосы, бычий лоб... И на сколько

лет он был моложе меня!..

А на рассвете, в косых золотых лучах утреннего солнца, она, после бессонной ночи, вдруг так похорошела, так порозовела и посвежела, ну вот как будто бы она в это утро каталась на коньках и пришла домой, вся благоухающая снегом и здоровьем.

Она сидела перед зеркалом, прибирала свои бронзовые волосы и говорила не со мной, а с моим отражением в зеркале и улыбалась радостно то себе, то мне.

— Давать в любви обещания и клятвы... разве это не грех перед Богом, разве это не тяжкое оскорбление любви? Хуже этого, пожалуй, только ревность. Недаром в Швеции ее называют черной болезнью. Ты ревнуешь, значит, ты не веришь моей любви и, значит, хочешь любить меня насильно, против моей воли и против моего желания. Нет, уже лучше сразу конец. Обида — плохая помощница любви.

Или, например: вот прошло некоторое время, и скучны тебе стали, приелись мои ласки. Вместо праздника любви наступили утомительные, мутные будни. Скажи мне прямо и просто, как другу: прощай. Поцелуемся в последний раз и разойдемся. Что за ужас, когда один не любит, а другой

вымаливает любовь, как назойливый нищий!

Ну, вот и все, Мишика, что я хотела сказать. Пусть это будет наш брачный контракт, или, если хочешь, наша конституция, или еще: первая глава в катехизисе любви.

Она подошла ко мне, обняла меня, прильнула губами к моим губам и стала говорить шепотом, и слова ее были как быстрые поцелуи:

— Под этим договором подписываюсь я, Мария: и вот эти руки, эти глаза, эти губы, и все, что есть у меня в сердце и в душе, принадлежит тебе, Мишика, пока мы любим друг друга.

И я ответил также шепотом:

— Этот договор подписываю и я, твой собственный покорный Мишика.

Глава VI
«Колья»

— Знаешь ли что, мой дружок? Этот самовлюбленный карачаевский барашек мне совсем надоел своей бестолковостью. Давай-ка перекочуем отсюда? Тут недалеко, за углом, я знаю один укромный кабачок, где дают превосходный кофе и настоящий английский ямайский ром. Garçon, addition![Гарсон, счет! *(фр.)*] Не стоит благодарности, Нарцисс Тулузский. Voir![Здесь: вот так! *(фр.)*]

* * *

— Я был дружен с этой женщиной год и четыре месяца. Заметь, я говорю — дружен, потому что не могу сказать — близок: в свою душу она меня не пустила и почти никогда не пускала. Не смею также сказать, что жил с нею. Она испытывала брезгливый ужас при одной мысли о том, что два свободных человека — мужчина и женщина — могут жить в течение многих лет совместно, каждые сутки, с утра до вечера и с вечера до утра, делясь едою и питьем, ванной

и спальней, мыслями, снами, и вкусами, и отдыхом, развлечениями, деньгами и горестями, газетами, книгами и письмами, и так далее, вплоть до ночных туфель, зубной щетки и носового платка... Брр!.. И эта тесная жизнь длится до тех пор, пока оба не потеряют окончательно всю прелесть и оригинальность своей личности, пока любовь, в которой ежедневная привычка погасила стремительные восторги, не станет регулярной необходимостью или чуть-чуть приятным удовольствием, которое, впрочем, так легко заменимо ложей в опере или интересным сеансом в синема.

Я передаю не ее слова, а только смысл ее слов. Ее речь бывала всегда мягка и осторожна.

Однажды я спросил ее:

— А как же быть, если... дети?

Она глубоко, глубоко вздохнула. Потом, помолчав немного, сказала печальным голосом:

— Вот именно, этого я и не знаю. Я никогда бы не осмелилась противиться законам природы. Но Богу, должно быть, неугодно послать мне такое счастье. Я не могу себе представить, что бы я думала, чувствовала и делала, ставши матерью. Но, прости меня, мне немножко тяжело говорить об этом...

Да, должен сказать, что я в первое время задавал ей слишком много ненужных и, пожалуй, бестактных вопросов. Надо сознаться: мы, русские интеллигенты, всегда злоупотребляем свободою делать пустые и неуклюжие вопросы как старым друзьям, так и встречным пассажирам: «Откуда идете? Куда? А что это на глазу у вас? Никак, ячмень?»

— Ну да, ячмень, черт бы тебя побрал, но вовсе не ячмень мне досаждает, а то, что до тебя тридцать таких же идиотов предлагали мне тот же самый вопрос: «Сколько вам лет? А вашей жене? Что же вы, батенька, так похудели? А почему это ваш сын не похож ни на мать, ни на отца?»

И без конца: где? куда? зачем? почему? сколько?

Русский мужик, солдат, рабочий был куда меньше повинен в такой развязности.

Несколько недель понадобилось мне до полного утверждения мысли, что одинаково противны и дурацкий вопрос, и надоедливое излияние души. Вот тут-то, дорогой мой, и надо всегда помнить мудрое правило: не делай ближнему того, что тебе самому было бы противно.

Мария никогда не показывала неудовольствия или нетерпения. Иногда она точно не слышала

моего вопроса, а если я повторял его, мило извинялась, иногда говорила: «Право, мой Мишика, это тебе неинтересно». Но чаще она ловко и нежно переводила разговор в другое русло.

Однажды ночью, лежа без сна в своем заводском павильоне, я, по какой-то случайной связи мыслей, вспомнил о моем давнем дружке, о Коле Константи. Жил такой грек в Балаклаве, владелец и атаман рыбачьего баркаса «Светлана», великий пьяница и величайший рыболов, который был в наших выходах в море моим добрым наставником и свирепым командиром. Однажды он утром на набережной возился над своим баркасом, очевидно, готовя его в долгий путь. Я спросил:

— Куда, Коля, пойдешь?

Он мне ответил сурово:

— Кирийа Мегало (что означало «господин Михайло» или — иначе — «большой господин»), никогда не спрашивайте моряка, куда он идет. Пойдет он туда, куда захотят судьба и погода. Может быть, в Одест, на Тендровскую косу, а если подымется трамонтана, то, пожалуй, унесет в Трапезунд или Анатолию, а может, и так случится, что вот, как я есть, в кожаных рыбачьих сапогах, придется мне пойти на морское дно, рыб кормить.

Это был хороший урок. Но что значит упорная воля привычки? Несколько дней спустя я увидел, что Коля, разостлав на мостовой скумбрийные сети, ползает по ним, как паук по паутине, штопая порванные ячейки, и спросил его:

— Где будешь бросать сети?

Вот тут-то он и привел меня в рыбачью веру.

— Я же тебя учил, трах тарарах, что моряка, трах тах тах, никогда не спрашивают, тарарах тах тах... — и пошло и пошло рыбачье проклятие, в котором упоминаются все одушевленные, неодушевленные и даже отвлеченные предметы и понятия, за исключением компаса и Николая Угодника...

И вот в ночном свете этого далекого грубого воспоминания я вдруг глубоко почувствовал, как я был неправ, скучен и назойлив в моем насильственном пытании чужой гордой души. Я спрашивал, например: изо всех тех, кто тебя любили, кого ты любила страстнее? Или: многих ли ты любила до меня? Ты еще думаешь о своем молодом моряке Джиованни? Тебе жаль его?

Ах, это русское ковыряние в своей и чужой душе! Да будет оно проклято! В эту бессонную одинокую ночь я в темноте несколько раз краснел от стыда за себя.

На другой день я рассказал ей о моем милом грекондосе, и по тому, как весело, нежно и благодарно заискрились ее глаза, я увидел, что она поняла и приняла мое покаяние и мое обещание. С той поры я перестал быть нищим вопрошателем.

Я верно угадал, что покаянный рассказ этот дойдет до ее сердца. Она была в восторге от моего «Колья», пропитанного водкой, табаком и крепким рыбным запахом. Она заставила меня рассказать ей все, что я помнил о Коле Константи, о Юре Паратино, о всех Капитанаки и Панаиоти, о Ватикиоти и Андруцаки, о Сашке Аргириди, о Кумбарули и прочих морских пиндосах. Она без конца готова была слушать меня, когда я говорил ей о всевозможных родах ловли, — о всех опасностях неверного рыбачьего промысла, о героических преданиях, о морских легендах и суевериях, даже о нелепых шумных кутежах после богатого улова белуги.

— Мой обожаемый медведь! — сказала она, прижавшись тесно ко мне. — Поедем туда, к твоему «Колья». Хочешь, сегодня же поедем?

А когда я объяснил ей, почему поехать в теперешнюю Россию нам совсем невозможно, она вдруг расплакалась, как девочка, горько и

обильно...

У нее была удивительная способность превращать кратчайшим путем замысел в дело. Она долго и внимательно расспрашивала меня о том, какие вещи могут теперь быть самыми необходимыми для рыбака, и в тот же день был ею отправлен Коле плотный пакет максимально дозволенного веса. Там были уложены две теплые морские фуфайки, несколько мотков английского шпагата разной толщины, малые крючки, чтобы ловить кефаль на самодуру, средние — для ловли на перемет камбалы и морского петуха — и самые большие для переметов на белугу, а так как оставалось еще немного пустого места, то его забили шоколадными плитками. Для отвода глаз посылка пошла как будто бы от американца Джонсона, которого Коля в 1910 году возил в лодке показывать окрестности Балаклавы. Девяносто девять шансов было за то, что посылка не дойдет. Мы надеялись на сотый.

Глава VII
Трактат о любви

Вижу, дружище, что я тебя совсем заговорил. Потерпи. Иду теперь широкими шагами к концу.

О, как много она мне дала и какой я перед ней неоплатный должник! Она была очень умна, во всяком случае, гораздо умнее меня. Но ее ум не стеснял, не подавлял: он был легок, непринужден и весел, он быстро схватывал в жизни, в людях, в книгах самое главное, самое характерное и подавал его то в смешном, то в трогательном виде: злого и глупого он точно не замечал.

В любви Мария была, мне кажется, истинной избранницей. Знаешь ли, какая мысль приходит теперь мне часто в голову? Думаю я так: инстинкту размножения неизменно подчинено все живущее, растущее и движущееся в мире, от клеточки до Наполеона и Юлия Цезаря, но только человеку, этому цвету, перлу и завершению творения, ниспосылается полностью великий таинственный дар любви. Но посылается совсем не так уж часто, как это мы думаем. Случаи самой высокой, самой чистой, самой преданной любви

выдуманы — увы! — талантливыми поэтами, жаждавшими такой любви, но никогда не находившими ее.

Видишь: все мы мыслим, я полагаю, непрерывно, в течение всей жизни. Но настоящих философов человечество знает не больше десяти-двадцати. Все мы сумеем нарисовать фигуру человечка: кружок, с двумя точками-глазами, и вместо ног и рук четыре палочки. Миллионы художников рисовали немного лучше, а иные и гораздо лучше, но ведь есть пределы: никто не мог добраться до Рафаэля, Леонардо да Винчи, Рембрандта. Кто из нас не умел промурлыкать легонький мотивчик или подбирать его одним пальцем на пианино? Но наши музыкальные способности совсем не сродни гению Бетховена, Моцарта или Вагнера и не имеют с ними ни одной общей душевной черты.

Иные люди от природы наделены большой физической силой. Другие родятся с таким острым зрением, что свободно, невооруженным глазом, видят кольца Сатурна. Так и любовь. Она — высочайший и самый редкий дар неведомого Бога.

Подумай-ка. Сколько миллиардов людей с сотворения мира совокуплялись, наслаждались, оплодотворялись, размножались и занимались

этим в течение миллионов лет. Но много ли раз ты слышал о большой и прекрасной любви, о любви, которая выдерживает всякие испытания, преодолевает все преграды и соблазны, торжествует над бедностью, болезнями, клеветой и долгой разлукой, о высшей любви, о которой сказано, что она сильнее смерти? И неужели ты не согласен со мною, что дар любви, как и все дары человеческие, представляет собою лестницу с бесконечным числом ступенек, ведущих от влажной, темной, жирной земли вверх, к вечному небу и еще выше?

Что? Бред, ты говоришь? Не оспариваю. Когда сидишь ночью с другом в кабачке, не грех сболтнуть лишнее. Позволь только напомнить тебе о том, что была эпоха, когда человечество вдруг содрогнулось от сознания того болота грязи, мерзости и пакости, которые засосали любовь, и сделало попытку вновь очистить и возвеличить любовь, хотя бы в лице женщины. Это средневековое рыцарство с культом преклонения перед прекрасной дамой. И как жаль, что это почти священное служение женскому началу выродилось в карикатуру, в шутотрагедию...

Но кто знает грядущие судьбы человечества? Оно столько раз падало ниже всякого животного

и опять победоносно вставало в почти божеский рост. Может быть, опять придут аристократы духа, жрецы любви, ее поэты и рыцари, целомудренные ее поклонники...

Баста. Я уже говорил тебе о десяти философах. Мне все равно не быть одиннадцатым. Тем более что один из этих мудрецов очень тонко намекнул нам: «Помолчи — и будешь философом». Гарсон, бутылку белого бордо! Я хочу тебе только сказать, друг милый, что она, моя волшебная Мария, была создана богом любви исключительно для большой, счастливой, доброй, радостной любви и создана с необыкновенно заботливым вниманием. Но судьба сделала какую-то ошибку во времени. Марии следовало бы родиться: или в золотой век человечества, или через несколько столетий после нашей автомобильной, кровавой, торопливой и болтливой эпохи.

Ее любовь была проста, невинна и свежа, как дыхание цветущего дерева. При каждой нашей новой встрече Мария любила меня так же радостно и застенчиво, как в первое свидание. У нее не было ни любимых словечек, ни привычных ласк. В одном она только оставалась постоянной: в своем неизменном изяществе, которое затушевывало и скрашивало грубые, земные детали

любви.

Да. Повторяю, у нее был высший дар любви.

Но любовь крылата! Ты, может быть, заметил, дружок, что на свете есть люди, как будто нарочно приспособленные судьбою для авиации, для этого единственно прекрасного и гордого завоевания современной техники? У этих прирожденных летунов как будто птичьи профили и птичьи носы; подобно птицам, они обладают неизъяснимым инстинктом опознаваться в дороге; слух у них в обоих ушах одинаков — признак верного чувства равновесия, и они с легкостью приводят в равновесие те предметы, у которых центр тяжести выше точки опоры. Для таких людей-птиц заранее открыто воздушное пространство и вверх, и вниз, и вдаль. Смелый летчик, но не рожденный быть летчиком, запнется на первой тысяче метров и потеряет сердце.

Я расспрашивал знакомых авиаторов об их ранних молодых снах. Ведь известно, что все люди во снах летают, кроме окончательно глупых. Но оказалось, что летуны по призванию летали выше домов, к облакам. Летчики-неудачники — те только с трудом отлипали от земли, а летали как бы в продолжительном прыжке. Любовь — такое же крылатое чувство. Но, сравнивая себя в этом

смысле с Марией, я сказал бы, что у нее были за плечами два белоснежных, длинных лебединых крыла, я же летал, как пингвин. Вначале я очень остро и, пожалуй, даже с обидой чувствовал ее духовное воздушное превосходство надо мною и мою собственную земную тяжесть, отчего невольно — признаюсь в этом — бывал смущен и неловок и часто сердился на самого себя. Конечно, это была простая мужская мнительность; воображение то и дело подсказывало мне разные нелестные уподобления. Она бывала иногда богиней, снизошедшей до смертного, матроной, отдающейся рабу-гладиатору, принцессой, полюбившей конюха или садовника. Ах, у каждого человека в душе, где-то, в ее плохо освещенных закоулочках, бродят такие полумысли, получувства, полуобразы, о которых стыдно говорить вслух даже другу, такие они косолапые.

Но скоро все эти угловатости сгладились: так мила, так предупредительна, так нежна, догадлива была Мария, так щедра, скромна и искренна, она была в любви так радостна, она любила жизнь, и такая естественная теплая доброта ко всему живущему исходила из нее золотыми лучами.

Да, дружок, в душе моей сохранилось много,

много сладких чудесных воспоминаний, заветных кусочков нашей неповторимой жизни. Это — целая книга. Перелистывая ее страницы, я испытываю жестокое, жгучее наслаждение, точно бережу рану. Мучаюсь мыслью о невозвратности времени, и в этом моя горькая утеха, мой любовный запой. Часто жалею я о том, что у меня не осталось от Марии никакой вещи: ленточки, локона волос, сухого цветка, гребенки, перчатки, платка или хоть какой-нибудь неодушевленной пуговицы. Тогда мои воспоминания были бы еще глубже, еще мучительнее и еще слаще.

Но в ту пору я глядел на такие сувенирчики презрительным оком холодного реалиста и серьезного дельца.

Да и надо — что поделаешь, — надо признаться, что нежная и страстная, кроткая и всегда радостная любовь Марии, ее трогательная ласка, ее здоровое веселье и преданность — понемногу, день ото дня, все более притупляли то мое выдуманное самоуничижение перед моей любовницей, которое раньше столь тяготило и связывало меня. Я уже не искал с жадностью ее ласк, я с удовольствием позволял ласкать себя. Вечная история с мужчинами, вообще склонными в любви задаваться.

Это я сам однажды понял и почувствовал в одно яркое мгновение. Весенним, теплым и ароматным вечером мы с Марией сидели в густой прекрасной аллее улицы Курс-Пьер-Пюже. Мы молчали. Голова Марии лежала у меня на плече. И вот она, обняв меня и прижавшись ко мне, сказала тихо и медленно, точно раздумывая и проверяя вслух свои мысли:

— Знаешь что, Мишика. Я чувствую теперь, что до тебя я никого не любила. Я хотела любить и искала любви, но все, что я узнала, — это была не любовь, а ошибка... может быть, невольная ложь перед самой собой. А теперь мне кажется, что я нашла и себя, и тебя, и ту вечную любовь, о которой мечтают все влюбленные, но которая из миллионов людей дается только одной паре.

Я не ответил. Я молча погладил ее волосы. Но в сердце у меня зашевелилось нехорошее чувство. Что это? Неужели покушение на мою свободу? Старая, знакомая, скучная песенка?

О, осел! Глупый, неблагодарный осел! Питайся теперь бурьяном и чертополохом и обливай колючки едкими слезами. Колесо времени не остановишь и не повернешь обратно.

Глава VIII
Мадам Дюран

Все течет во времени, и ко многому привыкаешь понемногу, незаметно для самого себя. Я уже чувствовал себя почти мужем Марии. Когда она бывала у меня в гостинице «Порт», нередко мы замечали, что наши мысли идут параллельно; часто мы произносили одновременно одно и то же слово; привычки и вкусы становились общими.

Низкую и обширную каюту свою с окнами в виде иллюминаторов я устроил совсем в корабельном стиле: повесил на стену большой барометр, спасательный круг и пробковый пояс; укрепил на подоконнике компас, а самый подоконник расчертил радиусами на тридцать два румба; к потолку подвесил полотняный гамак — корабельную койку. Марии очень понравилась эта затея. Мне тоже. Однако ее пристрастие ко всему морскому — признаюсь — наводило меня порою на печальные и ревнивые мысли, которые я всячески старался отгонять.

Я уже давно приучился не задавать ей лишних вопросов, признав наконец за этим правилом

и такт, и мудрость, и взаимное доверие. Да, с презрительной усмешкой стал я думать об одном русском, довольно-таки распространенном обычае. Он и она, прежде того дня, когда на них возложат «венцы от камене честна», зачем-то обменивались дневниками или просто признаниями в прежних любовных прегрешениях, все равно, истинных или мнимых. О, каким жгучим средством оказывался этот письменный и устный материал потом, через год, чтобы колоть и хлестать им друг друга без пощады!

Я по-прежнему мало знал о Марии, но сама обыденная жизнь открывала мне изредка новые черты в ее загадочном существовании и в ее прекрасной душе — свободной, чистой, гордой и доброй, хотя я и до сих пор не понимаю: была ли эта душа пламенной или холодной?.. Эти проблески я могу сравнить с мгновенным щелканьем фотографического аппарата.

Какой я был дурак! Я обижался — и серьезно! — на Марию за то, что она никогда не соглашалась уснуть у меня, хотя «засиживалась» иногда до раннего солнца. «Мне надо отдохнуть, чтобы работать со свежей головой». Так однажды она мне сказала. А в другой раз ничего не ответила на мое предложение. Засмеялась, нежно-нежно ме-

ня поцеловала, назвала своим милым большим медведем и, распахнув дверь, быстро застучала каблучками по лестнице. Я едва успел ее догнать, чтобы посадить в автомобиль.

Помню еще одно утро, после долгой, блаженной ночи... Мне уже пора было ехать на завод, но я сказал легкомысленно:

— Душа моя, ведь нам очень хорошо вместе. Такая ночь, как эта, — эта самая — никогда не повторится; продолжим ее еще на двадцать четыре часа, прошу тебя.

— А твоя служба?

— Ну, мое присутствие не так уж крайне необходимо. Наконец, я могу сейчас же телеграфировать, что заболел или вывихнул ногу...

Она медленно и серьезно покачала головою:

— Зачем говорить неправду? Лгут только трусы и слабые лентяи. Тебе, большой Мишика, не идет притворство.

— Даже в шутку?

— Даже в шутку.

Это нравоучение меня немного покоробило, и я возразил со сдержанной резкостью:

— Странно. Разве я не хозяин своего тела, своего времени, своих мыслей и желаний?

Она согласилась:

— Конечно, полный хозяин. Но только до тех пор, пока не связан.

— Контрактом? — спросил я с кривой улыбкой.

— Нет. Просто словом.

По правде говоря, мне некуда было дальше идти в нашем разговоре. Но я сознавал, что она права, и потому разозлился и сказал окончательную глупость:

— А разве я не хозяин и своему слову? Хочу — держу его. Хочу — нарушу...

Она не отозвалась. Опустила руки на колена, низко склонила голову. Так в молчании протекли секунды...

С острой горечью, с нежной виноватой жалостью к ней, с отвращением к своей выходке говорил я себе мысленно в эту тяжелую минуту:

— Будь же настоящим мужчиной, стань на колена, обними ее ноги, покрой поцелуями ее волшебные теплые руки, проси прощения! Все пройдет сразу, вся неловкость положения улетучится в один миг.

Но черт бы побрал эту глупую гордость, это тупое обидчивое упрямство, которое так часто мешает даже смелым людям сознаться вслух в своей вине или ошибке. Таким ложным стыдом, фальшивым самолюбием страдают нередко

крепкие, умные, сильные личности, но чаще всего дети и русские интеллигенты, особенно же русские политики.

Были моменты, когда мои нервы и мускулы уже собирались, сжимались, чтобы бросить меня к ее ногам, и — вдруг — унылая мысль: «Нет, теперь уже поздно!.. Нужное мгновение пропущено... Жест после долгой паузы выйдет ненатуральным... станет еще стыднее и неловче...»

Но Мария, моя прекрасная, добрая Мария быстро поняла и мои колебания, и мои колючие мысли. Она встала, положила руки на мои плечи и близко заглянула мне в глаза своими ласковыми, чистыми глазами.

— Дорогой Мишика, не будем дуться друг на друга. Прости меня. Я была бестактна, когда вздумала читать тебе мораль. Это, конечно, не дело женщины. Поцелуй меня, Мишика, поцелуй скорее, и забудем все. Делай что хочешь с моим временем и со мною. Я твоя и сегодня, и завтра, и всегда.

Мы помирились сладко и искренно. Но у меня уже не хватило решимости ни продлить нашу ночь на двадцать четыре часа, ни послать на завод телеграмму. Мария довезла меня до вокзала, и мы там расстались добрыми друзьями и

счастливыми любовниками.

* * *

Когда вытащишь большую и глубокую занозу, то еще долго саднит пораненное место. Всю неделю не давали мне покоя неприятные, кислые мысли, далеко не лестные для меня самого. Уж очень я грубо развернул перед европейской, умной и прелестной женщиной изнанку русской широкой души: наше небрежение к долгу и слову, нашу всегдашнюю склонность «ловчиться», чтобы избежать прямой и ответственной обязанности, наше отлынивание от дела, а главное, нашу скверную привычку носиться со своим я и совать его всюду без толка и основания, дерзко отметая опыты культуры, завоевания науки, навыки цивилизации. Не оттуда ли наш нигилизм, анархизм, индивидуализм, эгоцентризм и наш худосочный припадочный атеизм и чудовищно изуродованное сверхчеловечество, вылившееся в лиги любви, в огарчество, в экспроприации? И не эти ли черные стороны русской души создали удобренную почву для такого пышного расцвета русской самозванщины, от Емельки до Хлестакова?.. Пьяный чиновничишка, коллежский регистратор, когда его выталкивали за неплатеж

из кабачка, непременно грозился: «Погодите! Я еще вот покажу себя! Вы еще не знаете, с кем имеете дело!»...

Теперь ты видишь, друг мой, как в эти дни я корчился, вспоминая свои идиотские слова о честном слове, почти о присяге: «Захочу — держу, захочу — брошу псу под хвост...»

В субботу, по окончании работы, Мария заехала за мною на завод, как нередко делала и раньше. У нее был собственный, небольшой, но быстроходный изящный «Пежо», которым, надо сказать, она владела в совершенстве.

В воротах нам встретился директор. Он почтительно поклонился Марии, низко сняв шляпу. Она дружески кивнула ему головой, послала воздушный поцелуй и сразу взяла третью скорость.

Я любил сидеть в автомобиле не рядом с нею, а сзади, на пассажирском месте. Мне нравились ее ловкие, уверенные движения. Несясь по свободной дороге и точно ловя незаметный ритм машины, она плавно покачивала стройной спиною. Когда мы попадали в тесный затор, она нетерпеливо выпрямлялась и, высоко подняв голову, разыскивала глазами тот свободный коридор, в который можно было ринуться, и когда находила — весело кидалась в него, склонив голо-

ву, как бычок. И мне радостно бывало смотреть, как солнце играло золотыми спиралями в рыжеватых вьющихся волосах ее красивого затылка.

В этот день мы немного покатались на лодке, пообедали у меня в гостинице. Ушла она рано, часов около двух. Когда, прощаясь, я посадил ее в автомобиль, она перегнулась через, дверцу и сказала:

— Послушай, Мишика! Мне давно хочется, чтобы ты когда-нибудь у меня позавтракал или пообедал. Не приедешь ли ты ко мне завтра, около половины первого или в час?

Я обрадовался.

— Конечно! С большим удовольствием. Но ведь я не знаю ни твоего адреса, ни...

Она докончила за меня:

— Ни фамилии, хочешь ты сказать?

— Да.

— Так запомни: мой адрес — четыре тысячи пятьсот три, Vallon de l'Oriol. Спроси госпожу Дюран.

Я переспросил с удивлением, недоверчиво:

— Госпожу Дюран? (Ведь всем известно, что Дюран самая простая и самая распространенная фамилия во Франции. Достаточно заглянуть в любой справочник или указатель.) Неужели у

прекрасной, изысканной Марии такое ничего не говорящее имя?

И тут при жидком свете уличного фонаря я заметил, как густо и жарко покраснело лицо Марии. Она сказала шепотом:

— Нет, Мишика, нет. Я не хочу тебя обманывать. Я вовсе не Дюран. Это мое nom de guerre[Прозвище *(фр.)*.]. Тебе это не нравится?

— О дорогая, я обожаю тебя!

— Все равно, рано или поздно я должна была это тебе сказать. Мое родовое имя очень старое и окружено почетом. Мой отец и дед были адмиралами. Имя моего прадеда, великого адмирала, значится во всех исторических учебниках. Я знаю, тебе не покажется ни смешным, ни странным то, что я дорожу честью моих предков. Но я живу и буду жить только так, как мне самой хочется, и я знаю, что мой образ жизни мог бы скомпрометировать моих родственников, и потому я взяла первое попавшееся имя. И еще я тебе скажу... Я не виновата в том, что откололась от семьи. *Меня почти девочкой связали* с человеком, которого я не любила и который меня не любил, любил мое тело и молодость. Он был гораздо старше меня. Надо сказать правду: я пленилась его высоким положением, богатством и славным

титулом, но ведь я тогда была очень молода и очень глупа! Да, я солгала в первый и в последний, — заметь, Мишика, — в последний раз! Я убежала от него через неделю. Убежала в ужасе. И вот... Впрочем, довольно, мой Медведь. Ведь если я тебе все это рассказала — ты меня будешь любить не меньше?

Она засветила прожекторы и рявкнула гудком.

— До завтра, Мишика! — донесся до меня ее звонкий голос.

Глава IX
Павлин

Я приехал к Марии в назначенное время. Жила она на другой окраине города, где было мало шума и много деревьев. Старенькая, седая, благообразная привратница в старинных серебряных очках сообщила мне, что мадам Дюран помещается на третьем дворе, в собственном павильоне-особняке, где, кроме нее и прислуги, нет других жильцов. Этот третий двор, очень обширный, был похож на сад или на небольшой сквер. Вдоль высокого квадрата кирпичной огорожи росли мощные каштаны, а между ними кусты сирени, жасмина и жимолости; двор усыпан гравием; посредине его круглая высокая цветочная клумба, и в центре фонтан — женская нагая фигура, позеленевшая от времени. Сквозь поредевшие листья деревьев можно было заметить огромное, в два этажа, стеклянное окно, такое, какие бывают в мастерских художников и фотографов.

Я позвонил и тотчас же услышал легкие, быстрые, веселые шаги, сбегавшие сверху.

Мария сама отворила дверь. На ней была до-

машняя одежда: свободное шелковое цветное кимоно с широкими рукавами, обнажавшими по локоть ее прелестные руки. Улыбающееся лицо сияло счастьем и здоровьем. Она взяла меня за руку.

— Идем, идем, Мишика. Я тебе покажу мою келью.

Мы поднялись наверх по отлогой винтовой дубовой лестнице и вошли в ателье, просторное и высокое, как танцевальный зал, все наполненное чистым воздухом и спокойным светом, лившимся сверху, с потолка, и из стеклянного, большого, во всю стену, окна.

Обстановка была совсем проста, но необычна — вся из ясеня: ясеневый паркет, ясеневые панно на стенах, ясеневый громадный, вроде как бы чертежный стол у окна, ясеневые стулья. Я даже услышал с удовольствием давно знакомый мне, милый, свежий, чуть-чуть яблочный запах полированного ясеневого дерева. И именно благодаря ясеневым фанерам освещение комнаты ласкало и веселило взор, имело изящный, слегка желтоватый колорит, похожий на цвет свежесбитого сливочного масла или на липовый мед, вылитый из сотов.

Направо у входа, у стены, стояла низкая и широ-

кая оттоманка, покрытая отличным старинным ковром царственных густых и глубоких красок: темно-зеленой и темно-рыжей.

Никаких украшений. Только на столе помещался черный бархатный экран, а перед ним, на его строгом фоне, стоял фарфоровый кувшинчик с одной-единственной хризантемой: чудесная манера японцев любоваться цветами, не рассеивая внимания и не утомляя зрения.

Не сетуй, мой старый дружище, что я так утонул в подробностях. Ах! там, в этом прекрасном ателье, меня посетили величайшие радости и — по моей вине — отчаянное горе, которое выбило меня из жизни.

Я повернулся лицом к той стене, которая до сих пор была у меня за спиною. И я вдруг увидел удивительную вещь. Прямо напротив меня, совсем закрывая ясеневое панно, стоял необычайной величины великолепный павлин, распустивший свой блистательный хвост. Сначала мне показалось, что я вижу редкостное, по размерам и красоте, чучело, потом я подумал, что это картина, прекрасно написанная масляными красками, и, только подойдя поближе, я убедился, что передо мною — изумительная вышивка на светло-оранжевом штофе зелеными и синими

шелками всевозможных тонов, нежнейших оттенков и поразительных, незаметных переходов из цвета в цвет.

Я искренне восторгался: «Какое волшебство! Это уже не рукоделие, а настоящее художественное творчество! Кто сделал такую прелесть?»

Она ответила с кокетливой застенчивостью и с легким реверансом:

— Ваша скромная и покорная служанка, о мой добрый господин.

И потом она спросила:

— Тебе в самом деле нравится этот экран, Мишика?

— Бесконечно. У нас в России были очень искусные вышивальщицы золотом и шелком, но ничего подобного я не мог даже вообразить!

— Так он правда нравится тебе? Я рада и горда, он твой. Возьми его.

Я поцеловал одну за другой ее милые руки и решительно отказался:

— О моя Мария, этот подарок чересчур королевский! Место твоему павлину на выставке гобеленов или в королевском дворце, а не в моем временном бараке или в номере гостиницы.

Я рассказал ей о том, что на мусульманском Востоке существовал, а может быть, и теперь еще

кое-где существует, древний величественный обычай: если гость похвалил какой-нибудь предмет в доме — посуду, утварь, ковер или оружие, то ему тотчас же эту вещь преподносили в подарок.

Она захлопала в ладоши.

— Вот видишь, Мишика! Ты должен взять павлина!

Но я продолжал:

— Однако о таком щедром обычае вскоре узнали европейцы, которых великое назначение — нести цвет культуры и цивилизации диким народам. И вот они начали злоупотреблять священным обычаем гостеприимства. Они в домах магометан стали умышленно хвалить то то, то это, пока не потеряли умеренности и не принялись расхваливать хозяину огулом все самые лучшие, самые древние драгоценности, собранные еще прапрадедами. Мусульмане морщились, кряхтели, беднели с каждым днем, но, верные преданиям, нарушить старый неписаный закон, «адат», не решались. Тогда, сжалившись над ними, пришел им на помощь один знаменитый, мудрый мулла.

— В Коране написано, — сказал Хаджи, — что все в мире имеет свою грань и свой конец, за исключением воли Аллаха. Поэтому и гостепри-

имству есть предел. В твоем собственном доме даже кровный враг считается выше хозяина. Он больше, чем родственник, он друг, и особа его священна для тебя. Но как только он переехал за черту твоих владений — закон гостеприимства исчезает. Враг снова становится врагом, и от твоего разумения зависит, как ты должен поступить с ним. А разве не враг тебе жадный и бесцеремонный человек, который, под защитой твоего великодушия и уважения к старинному закону, безнаказанно обирает твой дом, да еще вдобавок искренне считает тебя ослом?

Верные сыны пророка приняли к самому сердцу это поучение. Послушный закону хозяин по-прежнему терпеливо подносит назойливому гостю все, что ему понравилось в доме. Он почтительно провожает его до порога и желает ему доброй дороги, но спустя малое время он седлает коня и скачет вслед обжорливому гостю, и, настигнув его в чужих владениях, хоть бы даже на соседнем поле, он отнимает у хапуги все свои вещи, не забыв, конечно, вывернуть его карманы и отнять у него все, что имеет какую-нибудь цену. Вот видишь, Мария, до чего доводит ложно понятая щедрость.

Она засмеялась:

— Благодарю за веселую притчу.

Но потом ее влажные темные глаза стали серьезны. Как тогда, в первый день нашего знакомства, у меня в «Отель дю Порт» четыре месяца назад, она положила мне руки на плечи. Ее губы были так близко к моему лицу, что я обонял ее дыхание, которое было так сладостно, точно она только что жевала лепестки дикого шиповника. Она сказала:

— В Испании есть похожий обычай. Там, когда впервые приходит гость, хозяин говорит ему:

— Вот мой скромный дом. Начиная с этого благословенного часа, прошу вас, считайте его вашим собственным домом и распоряжайтесь им, как вам будет угодно.

И она страстно воскликнула:

— Милый мой, любимый Мишика, мой славный бурый медведь! Я от всей души, от всего преданного сердца повторяю эти слова испанского гостеприимства. Этот дом твой, и все, что в нем, — твое: и павлин твой, и я твоя, и все мое время — твое, и все мои заботы — о тебе.

Медленно опуская ресницы, она прибавила тихо:

— Мишика, мне стыдно и радостно признаться тебе... Знаешь ли, теперь мне все чаще кажется,

будто бы я всю жизнь искала только тебя, только тебя одного и наконец нашла. Ах, это все болтовня о каком-то далеком, где-то вдали мерцающем идеале. Ну, какой же ты идеал, мой дорогой Медведь? Ты неуклюжий, ты тяжелый, ходишь вперевалку, волосы у тебя рыжие. Когда я тебя увидела в первый раз на заводе, я подумала:

«Вот чудесный большой зверь для приручения». И я сама не помню, как и когда это случилось, что добрый зверь стал моим господином. Я тебя серьезно прошу, Мишика, поживи у меня, сколько тебе понравится. Я не стесню твоей свободы, и когда ты захочешь, мы опять можем вернуться в нашу морскую каютку.

— Мария! а где же твое гордое, брезгливое одиночество? Твоя абсолютная свобода? Отвращение к тесной жизни бок о бок?

Она улыбнулась кротко, но не ответила.

— Поцелуй меня скорее, Мишика, и пойдем завтракать. Я слышу, идет моя Ингрид.

Действительно, открылась боковая дверь, и в ней показалась какая-то женщина и издали поклонилась.

У Марии была уютная светлая маленькая столовая, незатейливая, но очень вкусная кухня и хорошее вино. Прислуживала нам молчаливо

эта самая Ингрид — чрезвычайно странное и загадочное существо, по-видимому, откуда-то с севера, из Норвегии, Швеции или Финляндии, судя по имени; светловолосая, с необычайно нежной кожей. Лицо и фигура у нее были как бы двойные. Когда она глядела на Марию, голубые глаза становились необыкновенно добрыми и прекрасными; это был умиленный взор ангела, любующегося на свое верховное божество. Но когда эти глаза останавливались на мне, то мне казалось, что на меня смотрит в упор ядовитая змея или взбешенная, яростная, молодая ведьма. Или мне это только мерещилось? Но такое впечатление осталось у меня на очень долгое время — вернее, навсегда. Достаточно сказать, что каждый раз впоследствии, когда я чувствовал ее присутствие за моей спиною, я невольно и быстро оборачивался к ней лицом, подобно тому как каждый человек инстинктивно обернется, если по его пятам крадется коварная дрянная собака, которая хватает за ноги молчком, исподтишка.

Пользуясь минутой, когда Ингрид вышла из столовой, я спросил Марию:

— Где ты достала эту странную женщину? — И тут же осекся: — Прости, Мария, я опять спрашиваю...

Она на секунду закрыла глаза и печально, как мне почудилось, покачала головой. Может быть, она слегка вздохнула?..

— Нет, Мишика. Это прошло. Теперь спрашивай меня о чем хочешь, я отвечу откровенно. Я верю твоей деликатности. Я тебе сейчас скажу, откуда Ингрид, а ты сам рассуди, удобно ли мне открывать чужую тайну?

— Тогда не надо, Мария... не надо...

— Все равно. Я вытащила ее из публичного дома в Аргентине.

Я не знал, что сказать. Замолчал. А вошедшая Ингрид, точно зная, что разговор шел о ней, пронзила меня отравленным взглядом василиска...

А все-таки наш завтрак кончился весело. Ингрид разлила шампанское. Мария вдруг спросила меня:

— Ты очень любишь это вино?

Я ответил, что не особенно. Выпью с удовольствием бокал-два, когда жажда, но уважения к этому вину у меня нет.

— Послушай же, Мишика, я должна тебе сделать маленькое признание. Мне до сих пор бывает стыдно, когда я вспоминаю о том, как я фамильярно напросилась на знакомство с тобой в ресторане этой доброй толстухи испанки (и она

в самом деле покраснела: вообще она краснела не редко). Но я, пожалуй, здесь не так виновата, как кажусь. Видишь ли, у нас в Марсели был один русский ресторан. Теперь его уже больше нет, он разорился и исчез. Я однажды пошла в него с одним моим знакомым, который много лет прожил в России, очень ее любит и отлично говорит по-русски. Я не учла того, что он хотя и умный и добрый человек, но великий шутник и мистификатор. А я, — признаюсь, — плохо понимаю шутку.

В этом ресторане он был моим гидом. Я заметила, что все служащие женщины были дородны и важны, почти величественны. Иногда, с видом милостивого снисхождения, они присаживались то к одному, то к другому столику и пригубливали вино. «Кто эти великолепные дамы?» — спросила я моего спутника. И он объяснил мне: эти дамы — все из высшей русской аристократии. Самая незаметная среди них — по крайней мере, баронесса, остальные — графини и княгини. Потом плясали и пели какие-то маленькие курчавые люди с золотыми тубиками, нашитыми на груди камзола. Одну из их песен мой гид перевел по-французски. В ней говорилось о том, что русские бояры не могут жить без шампанского вина и

умирают от ностальгии, если не слышат цыганского пения. Ведь это неправда, Мишика?

— Конечно, неправда.

— А я доверчива до глупости. Я думала, там, у Аллегриа, показать тебе и почет, и тонкое знание аристократической русской жизни. Ну, не глупа ли я была, добрый Мишика? А теперь выпьем этого вина за наше новоселье!

Я сказал шутя:

— За наш брак!

Она отпила глоток вина и ответила:

— Только не это.

Глава X
Фламинго

После завтрака Мария показала мне свой дом. Есть на свете старая-престарая пословица: «Скажи мне, с кем ты знаком, а я скажу, кто ты таков». С не меньшим смыслом можно, пожалуй, было бы сказать: «Покажи мне твое жилье, а я определю твои привычки и твой характер». Комнаты Марии носили отпечаток ее простоты, скромного изящества и свободного вкуса. Сразу было видно, что в устройстве комнат она до крайней меры избегала всяких тряпок, бумаги и безделушек.

Первое, что она мне показала, была ее спальня — небольшая комната, вся белая: белые крашеные стены, белая соломенная штора на окне, белая, узенькая, как у девочки или монахини, постель. Над изголовьем висело небольшое черное распятие, за которое была заткнута ветка остролистника. На ночном столике, у кровати, стоял бурый плюшевый медведь, растопыря лапы.

— Мишика, ты узнаешь, кто это такой? — спросила Мария лукаво.

— Вероятно, я?

— Конечно, ты. Не правда ли, большое сходство? Но пойдем дальше. Вот в этом простенке моя маленькая библиотека. Ты в ней найдешь кое-что интересное. А здесь наша ванная комната. Посмотри.

Она открыла дверь, и я с восхищением увидел не ванную, а скорее просторный бассейн, с кафельными блестящими стенами и полом с четырьмя ступеньками, ведущими вниз, в воду. Легкий запах вербены улавливался в воздухе. Я сказал, что все это великолепно.

— Поверь мне, мой Мишика, — ответила Мария, — единственная роскошь, которую я себе позволяю, — это вода. Я не могу, физически не могу мыться в тяжелых фаянсовых чашках, или в раковинах под кранами, или в этих противных ваннах, крашенных под мрамор. Вот почему в путешествиях я всегда скучаю по моей ванной комнатке.

Теперь, Мишика, я покажу тебе твою собственную комнату, хотя я тебе уже говорила, что весь дом, с живым и мертвым инвентарем, принадлежит тебе.

Я засмеялся.

— Во всяком случае, ты можешь оставить себе прекрасную Ингрид.

— Да, — сказала она, — эта девушка ни на кого не производит приятного впечатления. У нее дикая мания, что все люди, которые бывают у меня, — злые враги или коварные шпионы, всегда умышляющие гибель ей, а главное, и мне. Но она, бедняжка, так много перестрадала в своей недолгой жизни! Я тебе расскажу когда-нибудь, и ты поймешь ее.

— Ну вот, смотри, Мишика. Твоя комната, — распахнула Мария дверь.

Это было прекрасное, очень большое помещение, меньше, чем ателье, но также обшитое ясенем; с большим и глубоким диваном из замши, с массивным ясеневым письменным столом. Все, в чем я мог бы нуждаться, было здесь под рукою, внимательно обдуманное и любовно устроенное, от прекрасных письменных принадлежностей до шелковой вышитой пижамы, сигар, папирос, содовой воды и виски.

Я поцеловал ее.

— Как ты добра и мила, моя Мария.

— Твоя! — весело воскликнула она.

— В доме, кроме нас двоих, еще три человека: кухарка — она почти невидима, но ты можешь заказывать меню по своему вкусу. Затем один отставной матрос Винцет; зимою он истопник,

а летом садовник, предобрый малый. Ты его можешь посылать с поручениями, он знает наизусть всю Марсель. Он же, когда нужно, подаст автомобиль — гараж напротив. А на Ингрид ты не обращай внимания. Пусть она гримасничает. Все твои приказания она исполнит беспрекословно. Ей, вероятно, тоже не особенно будет приятно, если я прикажу ей взять рукою раскаленную добела железную полосу, однако она схватит ее, ни на секунду не задумавшись... Теперь ты введен в свои владения. Я забыла только сказать, что к твоим услугам всегда готов шофер. Это — я. Пойдем теперь ко мне в мастерскую пить кофе.

Восточная оттоманка. Низенький японский лакированный столик. Кофе с гущей по-турецки, ароматный и крепкий, принесенный в кофейнике из красной меди; сладкий дым египетской папиросы. Прекрасная Мария, сидящая на ковре у моих ног... Я бы смело мог вообразить себя восточным султаном с табачной этикетки, если бы не маленькие графинчики из граненого хрусталя. Павлин на стене сиял, блистал и переливался при ярком свете во всем своем пышном великолепии.

Я сам тогда не знал, почему так часто привлекал мой взгляд этот удивительный экран и почему

он возбуждал во мне какое-то беспокойное внимание... Позднее я узнал...

Я говорил Марии:

— Мне кажется странным, почему ни один великий земной владыка не избрал павлина эмблемой своей власти. Лучший герб трудно придумать. Погляди: его корона о ста зубцах, по количеству завоеванных государств. Его орифламма вся усеяна глазами — символами неустанного наблюдения за покоренными народами. В медлительном и гордом движении его мантия волочится по земле. Это ли не царственно?

Она слушала меня, улыбаясь. Потом сказала:

— Я думаю, Мишика, что государи выбирали себе гербы не по красоте эмблемы, а по внутренним достоинствам. Орел — царь всех птиц, лев — царь зверей, слон — мудр и силен. Солнце освещает землю и дарит ей плодородие. Лилия — непорочно чиста, как и сердце государя. Петух всегда бодр, всегда влюблен, всегда готов сражаться и чувствителен к погоде.

А у павлина ничего нет, кроме внешней красоты. Голос у него раздирающий, противный, а сам он глуп, напыщен, труслив и мнителен.

Я возразил:

— Однако участвует во всех королевских церемониях горностаевая мантия? Между тем тебе, конечно, известно, что горностай, этот маленький хищник, — очень злое и кровожадное животное.

— Знаю. Но зато о нем вот что говорит народное сказание. Он очень гордится чистотою своей белой шкурки, и все время, когда не спит и не предается разбою, он беспрерывно чистится. Но если на его мехе окажется несмываемое пятно, то он умирает от огорчения. Оттого-то на старинных гербовых горностаевых мантиях можно прочесть надпись: «Лучше умереть, чем запачкаться». Смысл тот же, что и у белой лилии, — непорочность души.

А ты знаешь, Мишика, что во многих южных странах павлин считается птицей, приносящей несчастие и печаль?

— Нет. Я не слыхал. Думаю, что это просто суеверный вздор.

— И я тоже.

Так мы пили кофе и мило болтали. Нет-нет, а я все поглядывал на павлина, чувствуя все-таки, что какая-то странная, неуловимая связь есть у меня с этой художественной вещью.

Мария спросила:

— Ты все любуешься своим павлином? Как я рада, что угодила тебе. Завтра я начну работать над новым экраном. Хочешь, я тебе скажу, какой будет мотив? Представь себе: маленькое болотце, осока и кувшинки. Вдали едва встает заря, а на болоте несколько птиц фламинго, все в разных позах. Та стоит на одной ноге, другая опустила клюв в воду, третья завернула шею совсем назад и перебирает перышки на спине, четвертая широко распустила крылья и перья, точно потягиваясь перед полетом... Я все это вижу сейчас перед глазами так ясно-ясно. Боюсь только, что не найду нужных мне оттенков шелка. У фламинго прелестная, необычайная окраска оперения: она и не розовая и не красная, она особенная. А кроме того, очень трудно проследить, как бледнеет эта окраска, постепенно исчезая в белой... Таких нюансов не знает никто: только — природа.

Я сказал:

— По всему видно, что ты любишь свое искусство. Это, должно быть, большое счастье!

— Да, большое. Но моя работа — только полуискусство, а потому не знает ревности и зависти...

Тогда я спросил:

— Мария, ты великодушно разрешила мне задавать иногда тебе вопросы, полагаясь на мою

осторожность... Как много ты уже сделала таких прекрасных панно?

— Я не помню. Около пятидесяти.

— Тут же ты, конечно, считаешь и копии?

— Нет. Я бы не могла повторяться. Скучно. Самое приятное — это когда находишь тему и думаешь о ней.

— А потом, когда картина окончена, тебе не жалко расставаться с ней?

— Нет, не жалко. Хочется только, чтобы она попала в хорошие руки. Но зато, когда я увижу спустя некоторое время у кого-нибудь мою работу, то я чувствую тихую грусть: точно мне случайно показали портрет давно уехавшего, доброго друга.

Я покачал головой.

— Друг — это тоже большое счастье. Я не верю, чтобы у человека могло быть больше одного друга. Сколько же у тебя, Мария, друзей, если ты раздала на память около пятидесяти панно?

— Друзей? У меня есть три-четыре человека, с которыми я видаюсь без неудовольствия и чаще по делу, чем для интимной беседы. Друг у меня только один — это ты. Что же касается до моих экранов, то я их отсылаю в Париж, в известный магазин редких вещей, и, надо сказать, мне там

очень хорошо платят. Такие вещи могу и умею делать только я. Больше никто. Есть богатая американская фирма, которая покупает каждую мою вещицу. Магазин берет не очень большой процент. Ну, что же: признаваться — так признаваться до конца.

Последние слова Марии поразили меня не так чтобы очень приятно. Я сразу даже не сообразил того, как не вяжутся эти два положения. С одной стороны, образ жизни Марии: ее прекрасный особняк, трое человек прислуги, редкая обстановка, чудесные и очень дорогие, несмотря на их простоту, парижские костюмы и широкая трата денег... С другой стороны, ручная работа шелком по атласу, весьма медленная и кропотливая. Что она может дать? Не более тысячи, ну, скажем, щедро, двух в месяц...

Нет, эта мысль не бросилась мне первой в голову.

Самые слова «ручная работа» показались мне какими-то уж очень прозаичными, будничными, жалкими, годными для швей и портных. И весь роман мой как бы замутился, потускнел, сузился и обесцветился.

В ту пору, когда еще, не зная имени моей новой, неожиданной и прекрасной любовницы, я мыс-

ленно делал ее то международной шпионкой, то курортной сиреной, то контрабандисткой, то фантастической Мессалиной, — во мне играла, щекоча мужское самолюбие, гордость завоевателя. Тогда я выбивался из сил, чтобы никогда не позволить ей платить за себя, и, наоборот, щеголял щедростью и предупредительностью.

И вот она оказалась всего лишь трудящейся женщиной, живущей вышивальной работой... Наверное, ребро указательного пальца левой руки привычно истыкано у нее иголкой. Замечал я это или не замечал? Словом, я чувствовал себя разочарованным. Моя связь с женщиной загадочной, немного роковой, а главное, богатой и эффектной, обратилась в обыкновенную интрижку с швейной мастерицей. Я чувствовал себя обманутым, как бы обкраденным. Боже мой, как глуп и как ничтожен был я в эти минуты. Ах! Мы, русские, слишком много читаем без всякого разбора, слишком часто воображаем себя героями прочитанного!

Я долго и уныло молчал. Поняла ли Мария? Прочитала ли она мои мысли? Она взяла мои руки (и я мог потихоньку убедиться, что указательный палец у нее гладок и нежен), она притянула меня близко к себе и сказала следующее:

— Мишика, у меня нет тайн от тебя, и ты надо мною не будешь смеяться. Я не верю ни в демократию, ни в филантропию. Я знаю только одно: мне стыдно есть, если около себя я вижу голодного человека или голодную собаку. Мне издали стыдно и при мысли о них. Дела мои так устроились, что я получаю достаточно много, несколько больше, чем мне нужно. Но меня всегда стесняла и тревожила мысль, что я получаю эти деньги ни за что. И вот мне однажды пришла верная, по моему убеждению, мысль. Я должна заработать по возможности столько же, сколько трачу на себя, и эту сумму раздавать там, где мне всего яснее, резче кидается в глаза настоящая нужда. Так я квитаюсь с обществом и с моей совестью. Ты понял меня, Мишика?

* * *

Мне стало стыдно. Но о подлой причине этого стыда и о низких мыслях не сказал ни слова. А надо бы было, — для собственной казни...

Этот день мы провели чудесно. Я чувствовал себя, как большой добрый пес, который утром напроказил и уже был за это наказан, даже прощен, но еще до вечера нет-нет да и попросит извинения, то печальным взглядом, то хвостом...

Мария — точно она видела эту занозу в моей душе — была необыкновенно мила и нежна со мною.

Она пробыла в моей новой комнате до глубокой ночи. Она уже собиралась уйти, но вдруг остановилась.

— Мишика! — сказала она почти робко. — Ты не рассердишься, если я у тебя останусь до утра? Ты не прогонишь меня?

А утром, когда она еще спала, я увидел на ее лице тот неописуемо-розовый нежный оттенок, который бывает на перьях фламинго перед переходом в белый цвет.

Глава XI
Зенит

В конце декабря Мария получила из Неаполя короткое и весьма безграмотное письмо, нацарапанное ужасным почерком по-итальянски. Оно было от сестры Джиованни, того самого красавца матроса «суперкарго», с которым мы едва не разодрались насмерть. С наивной и глубокой простотой писала итальянка, что брат ее погиб в Бискайском заливе, во время крушения парохода «Geneva». Уходя в последнее плавание, он оставил дома адрес госпожи Дюран и просил известить ее в случае его смерти.

«Молитесь о нем вместе с нашей осиротевшей семьей» — так кончалось это письмо. Когда Мария переводила мне его, у нее на опущенных ресницах дрожали слезы.

Она никогда не скрывала от меня своих действий. Я знал, что она послала семье погибшего Джиованни крупную сумму денег и заказала по нем в соборе Nostra Dama della Guarda заупокойную мессу.

Я не мог понять и не допытывался: сохранился

ли еще в ее памяти любовный образ прекрасного моряка, или ее внимание к умершему и к его семье было дружеской спокойной благодарностью за прошлое счастье.

Впрочем, мужчины, пожалуй, никогда не освоятся с тем, что женщине трудно разлюбить, но если она разлюбила, то уже к прошлой любви никогда не вернется. Мужчин же этот возврат часто тянет.

Я был очень сдержан в эти дни, но «черная болезнь» — нелепая ревность к прошедшему, — признаюсь, нередко охватывала меня.

«Он знал ее адрес на Валлон-де-Л'Ориоль. Может быть, он и бывал здесь. Может быть, мой широкий диван из замшевой кожи...» — думал я иногда, и у меня перед глазами ходили огненные круги и ноздри раздувались. Я сказал Марии, что хочу переехать в «Отель дю Порт». Она охотно согласилась со мною: там пришла к нам наша внезапная и горячая любовь, там осталось так много воспоминаний, необыкновенных и трогательных.

Но оказалось, что наш отель с корабельной каютой на чердаке затеял капитальный ремонт. Пришлось остаться в доме у Марии. Да и нужно сказать, мое ревнючее люмбаго довольно скоро

прошло: так мила, нежна, предупредительна была со мною Мария.

Жизнь снова и безболезненно наладилась. Каждое утро Мария отвозила меня на завод, а вечером заезжала за мною. Завтракал я на службе.

Отношения мои с сослуживцами были по-прежнему добрые, приятельские, но где-то в них уже таилось едва заметное, едва ощутительное охлаждение.

Я уже не принимал участия в прежних беспечных эскападах в теплые темные уголки Марсели с их портовыми приманками, я не сидел вместе с нашей ладной горластой компанией у Бассо за пламенным буйабезом. Я не ходил с друзьями в тесной гурьбе по театрам, циркам, музеям и народным праздникам, не открывал с ними новых уютных кабачков.

Конечно, они знали о связи моей с Марией, и это обстоятельство тоже содействовало взаимному отчуждению.

Это ведь постоянно так бывает: из дружного, слаженного кружка закадычных холостяков вдруг выбывает один перебежчик, чтобы навсегда погрузиться в лоно семейных тихих радостей, и весь кружок долго чувствует себя разрозненным, опустелым, пока не зарубцуется, не станет

привычным изъян. Встречи с ним, внешне, остаются по-прежнему сердечными, но в них невольно скользят и легкое презрение к изменнику, и укор, и сожаление о добровольной утрате им холостой свободы. «Ну что? как? Здоров? весел? счастлив?» И с лукавой, недоверчивой приязнью слушают прокуренные холостяки его немного театральные восторги.

— Да вы приходите когда-нибудь ко мне. Жена моя — это такой славный товарищ! Она давно знает и любит вас по моим рассказам. Навестите же нас при первом случае. Для каждого из вас всех найдется уголок у камина, старая сигара и стакан доброго вина. Вспомним нашу бурную проказливую молодость.

Коренастые замшелые холостяки кивают головами, крякают, благодарят и лукаво переглядываются: «Знаем мы, как бывают любезны молодые жены к холостым друзьям мужа-новобранца...» И с удовольствием думают про себя, что ни в клубы, ни на суда — военные, торговые и даже пиратские — вход женщине не допускается.

А еще более дело осложняется, когда друзьям известно, что ренегат не закрепил своего сожительства формальным образом: ни в церкви, ни в мэрии, ни у нотариуса. Тут бог знает из каких

глубоких недр вылезают наружу старые, заржавленные, давно забытые предрассудки.

Все это я вспомнил и испытал в тот день, когда в моем бараке на заводе мои сотрудники дали пышный обед мне и Марии. Надо сказать, во-первых, что выпито было за столом несравненно больше, чем мои друзья позволили бы себе в присутствии «законной супруги». А во-вторых, в словах, обращенных к ней, в нелепых русских тостах и шутливых брачных намеках были неискренность, натянутость, приподнятость, вместе с худо скрытой развязностью. Я как будто бы прозревал их настоящие, циничные мысли: «Твое дело — капризный случай. Разве все мы не видели, как на твоих коленях сидели прехорошенькие девчонки и пили с тобою из одного стакана? Игра судьбы, что одна из них не сидит сейчас на почетном месте, игра судьбы, что эта досталась тебе, а не мне». Смешно сказать: все мужчины в этом смысле самомнительны до идиотства. Каждый лакей в аристократическом доме или во дворце, если он только не старше пятидесяти лет, такого высокого мнения о своих мужских достоинствах, что без особого волнения встретит минуту, когда его никому не доступная великолепная госпожа скажет ему, снимая одежды: «Неужели ты до

сих пор не замечал, что я вся твоя?» «Рюи-Блаз» — героическая пьеса, однако она оказалась написанной точно специально для лакеев. По крайней мере — это их излюбленная пьеса.

И не вследствие ли этой уверенности в женской податливости, с одной стороны, и в своей собственной неотразимости — с другой, большинство мужчин склонно так хвастливо, так неправдоподобно, так грубо врать о своих любовных успехах?

И у такого хвастуна есть свое внутреннее темное оправдание: «Положим, этого никогда не случилось, но будь у меня свободное время, благоприятные условия, да поменьше робости, да побольше настойчивости, оно все равно непременно случилось бы...»

Словом, этот обед еще больше расторг мою прежнюю близость с сослуживцами.

Мария, в свою очередь, ответила им обедом, на котором была очень мила и обходительна, но недоступно холодна. На прощанье, когда кто-то из моих друзей намеревался поцеловать у нее руку, она не позволила. Она сказала:

— Это был, вероятно, прекрасный обычай в старину. Теперь он выходит из моды даже во дворцах.

И, чтобы загладить резкость, она прибавила, улыбаясь:

— Впрочем, и дворцы выходят, кажется, из моды.

Это замечание обидело. А ведь надо сказать правду: мы, русские, целуем дамские руки раз по тридцати в сутки, целуем знакомым, полузнакомым и вовсе незнакомым дамам, и притом вовсе не умеем целовать хотя бы немножко прилично. Да и поцелуй руки — это высшая, интимная ласка. С какой стати мы мусолим руку каждой женщины без смысла для нее и для себя?

И тоже: надо наконец серьезно подумать и о рукопожатиях. Сколько есть на свете мокрых, грязных, холодных, вялых, точно распаренных или сухо и жестко горячих, явно враждебных, несомненно преступных и просто отвратительных рук. И каждую из них вы, при случайном знакомстве, должны пожать, несмотря на то, что ваша рука — этот тончайший аппарат чувствительности — содрогается и протестует всеми своими нервами. Не лучше ли кивок, полупоклон, ну, в крайности, даже глубокий, черт побери, поклон?

Так мы с Марией и остались одни в шумной, людной, пестрой Марсели. Отношения мои с

сотрудниками стали вежливо деловыми, хотя порою мне казалось, что я читаю в их случайных взглядах подозрительный и ядовитый вопрос: «А уж не состоишь ли ты на содержании у женщины?» Страшный вопрос для мужчины.

Вот почему я бесконечно обрадовался, когда бельгийское общество купило мой патент на новый гидравлический пресс и я получил деньги, для меня в то время довольно большие.

Был, впрочем, один человек, который казался мне искренно привязанным к Марии и глубоко ее уважавший. Это — главный директор нашего завода, господин де Ремильяк, старый, сухой гасконец, с серебряной узкой бородой и пламенными черными глазами. Он говорил о мадам Дюран с рыцарской почтительностью. Каждый раз, когда он спрашивал меня о ее здоровье или посылал ей поклон, то, называя ее имя, он неизменно приподнимал свою каскетку. Гораздо позже я узнал, что де Ремильяк был большим другом ее покойного отца и что он вел все денежные дела Марии. Между прочим, часть ее состояния была в акциях нашего завода.

В первые месяцы я совсем не чувствовал отсутствия мужской свободной компании. Видишь ли: есть у татар такое словечко — «хардаш», что

значит, товарищ, друг. Но у них товарищи бывают разного рода: товарищ по войне, товарищ по торговле, товарищ по пирушке... Есть также и товарищ по путешествию, спутник. Он называется киль-хардаш, и им очень дорожат, если он имеет все добрые качества своего звания. Так вот: Мария как раз была чудеснейшим киль-хардашем.

Она обладала той быстротой, четкостью и понятливостью взгляда, которые Бог посылает как редчайший дар талантливым художникам и писателям, но гораздо щедрее, чем мы думаем, раздает женщинам, умным и искренно любящим жизнь. Ее наблюдения были верны, а замечания остры и забавны, но никогда не злы.

Мы любили путешествовать наудачу. Брали карту Прованса, кто-нибудь из нас, зажмурив глаза, тыкал пальцем куда попало, и какой город или городишко оказывался под пальцем, туда мы и ехали в ближайшую субботу. Прованс неистощим в своих красотах.

Странно: чаще всего в этом гаданье выпадал у нас городок с весьма забавным названием: Cheval-Blanc — Белая Лошадь! Но он был точно заколдован: всегда нам что-нибудь мешало открыть его. Мария однажды сказала о нем очень мило:

— Ты знаешь, как я себе рисую этот таинственный город? Там давно уже нет ни одного живого существа. Плющом повиты развалины старых римских домов и разбитых колонн. А на площади высится лошадь из белого мрамора, раз в десять выше натурального конского роста. Крошечные жесткие колючие кустарники, и кричат цикады... и больше ничего нет. Но я думаю, что ночью, при лунном свете, там должно быть страшно...

Удивительно: этот неведомый городок всегда тревожил мое воображение каким-то смутным предчувствием. Не суждено ли мне умереть в нем? Не ждет ли меня радость? Или, может быть, глубокое горе? Судьба бежит, бежит, и горе тому, кто по лени или по глупости отстал от ее волшебного бега. Догнать ее нельзя.

Незабвенные жаркие дни под южным солнцем; сладостные ночи под черным небом, усеянным густо, до пресыщения, дрожащими южными звездами. Прохладная тихая полутьма и строгий мистический запах древних каменных соборов, уютные остеллери и обержи[Постоялый двор (от *фр.* auberge).], где пища была так легка и проста, незатейливое местное винцо так скромно пахло розовыми лепестками, а ласковая улыбка толстой хозяйки так дружески поощрительна, что нам

казалось, будто мы пьем и едим на голой груди матери-земли, прильнув ртами к ее всеблагим напряженным сосцам.

Старый друг мой, дорогой мой дружок! Никому я обо всем этом никогда не говорил и, уж конечно, больше не скажу. Прости же мне мое многоречие...

Есть у меня утешение — моя исключительно точная память. Но как сказать: не источник ли этот дар и моих бесплодных мучений? Когда жаждущему дают морскую воду, он радуется ее прохладе, но, выпив, терзается жаждой вдвое.

У меня в памяти большая коллекция живых картин. Сюжет всегда один и тот же — Мария, — но разные декорации. Стоит мне только вытащить из моего запаса экзотическое название любого провансальского городишка или станции, связанной с нашей любовью, — какой-нибудь «Cargneiranne», или «Pont de la Clue», или «Mont des Oiseaux», или «Pas de Lancieres», или «La Barque», — вытащу, и вот передо мной полосатые навесы от солнца, длинное одноэтажное здание, крашенное в желтую краску, запах роз, лаванды, чеснока и кривой горной сосны; виноградный трельяж и непременно Мария. Она видится мне так резко и красочно, точно в камере-обскуре. Я

слежу за ее легкими движениями, поворотами головы, игрой света и тени на ее лице. Я слышу ее голос, вспоминаю каждое ее слово.

Вот теперь мне вспоминается Борм... Такой небольшой уездный городишко между Тулоном и Сен-Рафаэлом. Мы в гостинице (Hostellerie), которой насчитывается около пятисот лет. Несколько раз она меняла свое название вместе с хозяевами. Последний владелец, бретонец, назвал ее «La Corriganne», что на его языке значит «Морской грот».

Там было чистенько, уютно, прохладно, но ни одного намека на грубоватую прелесть утекших веков...

Нас проводили наверх, в крытую веранду. Сквозь ее широкие арки виден был весь город, в котором все дома сверху донизу тесно и круто лепились по скалам, без малейших промежутков, совсем как соты; едва намечались какие-то узенькие проходы, винтовые лестницы, слепые черные дыры. Наверху, как на шпиле, громоздилось неуклюжее серое здание замка «Chateau fort» — бывшее страшное разбойничье гнездо.

Внизу жило, дышало, рябилось, сверкало далекое море такой глубокой, густой синевы, которую можно было бы скорее назвать черной, если бы

она не была синей.

Мария стояла с биноклем в середине арки, облокотившись обоими локтями о подоконник. Вдруг она воскликнула:

— Мишика, иди скорей! Посмотри на эту лодку! О, как красиво!

Я подошел, взял у нее бинокль, поглядел и подумал: что же тут необыкновенного? Сидит на веслах человек в белом костюме с красным поясом и гонит лодку.

Но она говорила:

— Нет, ты посмотри повнимательнее: весла — как крылья стрекозы. Вот она мгновенно расправила их, и как остр, как прекрасен их рисунок. Еще момент, и они исчезли, точно растаяли, точно она потушила их, и опять, и опять. И что за прелестное тело у лодки. А теперь посмотри вдаль, на этого шоколадного мальчика.

На скале стоял почти черный мальчуган, голый. Левая его, согнутая в локте рука опиралась на бедро, в правой он держал тонкую длинную палку, должно быть, что-то вроде остроги, потому что иногда, легко и беззаботно перепрыгивая с камня на камень, мальчик вдруг быстрым движением вонзал свою палку в воду и для противовеса округло подымал левую руку над головой.

— О Мишика, как это невыразимо красиво! И как все слилось: солнце, море, этот прозрачный воздух, этот полудетский торс, эти стройные ноги, а главное — что мальчишка вовсе не догадывается, что на него смотрят. Он сам по себе, и каждое его движение естественно и потому великолепно... И как мало надо человеку, чтобы до краев испить красоту!

Странно: в этот момент как будто бы впервые раскрылись мои внутренние душевные глаза, как будто я впервые понял, как много простой красоты разлито в мире.

Весь мир на мгновение показался мне пропитанным, пронизанным какой-то дрожащей, колеблющейся, вибрирующей, неведомой многим радостью. И мне почувствовалось, что от Марии ко мне бегут радостные дрожащие лучи. Я нарочно и незаметно для нее приблизил свою ладонь к ее руке и подержал ее на высоте вершка. Да, я почувствовал какие-то золотые токи. Они похожи были на теплоту, но это была совсем не теплота. Когда я вплотную прикоснулся рукою к руке Марии — ее кожа оказалась гораздо прохладнее моей.

Она быстро обернулась и поцеловала меня в губы.

— Что ты хочешь сказать, Мишика?

Тогда я рассказал ей о золотых лучах, проникающих вселенную.

Она обняла меня и еще раз поцеловала.

— Мишика, — сказала она в самые губы мне. — Это любовь.

_____

В каждом большом счастье есть тот неуловимый момент, когда оно достигает зенита. За ним следует нисхождение. Точка зенита!.. Я почувствовал, как моих глаз тихо коснулась темная вуаль тоски.

Глава XII
Тангенс

Ах, друг мой, друг мой. Обоим нам приходилось когда-то изучать тригонометрию. Там, помнишь, есть такая величина — тангенс, касательная к окружности круга. Меня, видишь ли, ее загадочное, таинственное поведение приводило всегда в изумление, почти в мистический страх. В известный момент, переходя девяностый градус, тангенс, до этой поры возраставший вверх, вдруг с непостижимой быстротой испытывает то, что называется разрывом непрерывности, и с удивлением застает самого себя ползущим, а потом летящим вниз, — полет, недоступный человеческому воображению. Но еще больше поражало меня то, что момент этого жуткого превращения совершенно неуловим. Это ни минута, ни секунда, ни одна миллионная часть секунды: ведь время и пространство можно дробить сколько угодно, и всегда остаются довольно солидные куски... Где же этот таинственный момент?

Был у меня один приятель, Колька Цыбульский, талантливейший математик и музыкант и в то

же время не только отчаянный эфироман, но и поэт сернистого эфира. Он как-то рассказывал мне об ощущениях, сопровождающих вдыхание этого наркотика.

— Сначала, — говорил он, — неприятный, даже противный, сладкоприторный запах эфира. Потом страшное чувство недостатка воздуха, задыхания, смертельного удушья.

Но мысль и инстинкт жизни ничем не усыплены, ничем не парализованы.

И вот, — совсем не «вдруг», без всяких границ и переходов, — я живу в блаженной стране Эфира, где нет ничего, кроме радостной легкости и вечного восторга.

— Часто, ложась на диван, — говорил Цыбульский, — и закрывая рот и нос ватной маской, пропитанной эфиром, я настоятельно приказывал себе: «Сознание не теряется сразу, заметь же, заметь, непременно заметь момент перехода в нирвану...» Нет! все попытки были бесполезны. Это... это непостижимо... Это вроде превращения тангенса!

— Вот так же, мой друг, я думаю, неуловим и тот момент, когда любовь собирается либо уходить, либо обратиться в тупую, холодную, покорную привычку. И может быть, именно в Борме, в

тот самый миг, когда души наши до краев были налиты счастьем, — тогда-то и пошла на убыль, незаметно для меня, моя любовь к Марии.

Она сказала ласково, почти вкрадчиво:

— Мишика! Здесь так хорошо. Оставим здесь наш шатер еще на один день?

Я вспомнил нашу давнюю маленькую ссору, еще там, в «Отель дю Порт», в нашей корабельной каюте, и вдруг почувствовал себя утомленным и пресыщенным.

Я возразил:

— А моя служба на заводе? А долг чести? А верность слову?

Она поглядела на меня печально. Белки ее глаз порозовели.

— Ты прав, Мишика. Я рада, что ты стал благоразумнее меня. Поедем.

Мне стало жалко ее. Я поторопился сказать:

— Нет. Отчего же? Если ты хочешь, я останусь с удовольствием...

— Нет, Мишика. Поедем, поедем.

Я согласился. Дорога до Марсели была длинна и скучна. Мы много молчали. Чувство неловкости впервые легло между нами. Потом оно, конечно, рассеялось, и наши новые встречи казались по-прежнему легкими и радостными.

* * *

Теперь-то я многое обдумал и многое понял, и я убежден, что мы, мужчины, очень мало знаем, а чаще и совсем не знаем любовный строй женской души. У Марии, так смело и красиво исповедовавшей свободу любви, было до меня несколько любовников. Я уверен, ей казалось вначале, что каждого из них она любит, но вскоре она замечала, что это было только искание настоящей, единственной, всепоглощающей любви, только самообман, ловушка, поставленная страстным и сильным темпераментом.

Большинство женщин знает — не умом, а сердцем — эти искания и эти разочарования.

Почему наиболее счастливые браки заключаются во вдовстве или после развода? Почему Шекспир устами Меркуцио сказал: «Сильна не первая, а вторая любовь»?

Мария, невзирая на свою женственность, обладала большой волей и большим самообладанием. В любви не ее выбирали: выбирала она. И она никогда не тянула из жалости или по привычке выветрившейся, нудной, надоевшей связи, как невольно тянут эту канитель многие женщины. Она обрывала роман задолго до длинного

скучного эпилога и делала это с такой ласковой твердостью и с такой магнетической нежностью, какую я увидел впервые на примере покойного суперкарго Джиованни. Ведь позднее, уступая моей неуемной ревности к прошлому, она мне многое, многое рассказала.

Еще я тебе скажу: есть неизбежно у женщины, нашедшей наконец свою истинную, свою инстинктивно мечтанную и желанную любовь, есть у нее одно великое счастье, и оно же величайшее несчастье: она становится неутолимой в своей щедрости. Ей мало отдать избраннику свое тело, ей хочется положить к его ногам и свою душу. Она радостно стремится подарить ему свои дни и ночи, свой труд и заботы, отдать в его руки свое имущество и свою волю. Ей сладостно взирать на свое сокровище как на божество, снизу вверх. Если мужчина умом, душою, характером выше ее, она старается дотянуться, докарабкаться до него; если ниже, она незаметно опускается, падает до его уровня. Соединиться вплотную со своим идолом, слиться с ним телом, кровью, дыханием, мыслью и духом — вот ее постоянная жажда!

И невольно она начинает думать его мыслями, говорить его словами, перенимать его вкусы и привычки, — болеть его болезнями, любоваться

его недостатками. О! Сладчайшее рабство!

Такую-то любовь и принесла мне моя Мария. Ты, конечно, скажешь, что этот божественный дар был безумие, бессмыслица, дикое недоразумение, роковая ошибка? Тысячу раз говорил и до сих пор говорю я себе то же самое. Но кто же от начала мироздания сумел проникнуть в тайны любви и разобраться в ее неисповедимых путях? Кто взял бы на себя смелость, устраивая любовные связи, соединять достойных и великодушных с великодушными, красивых с красивыми, сильных с сильными, а осевшую гущу выбрасывать в помойную яму?

Впрочем, это все философия. Бросим! Допьем наше вино, и я расскажу тебе о себе самом. Сделаю это без всякой пощады, со злобным удовольствием.

— Я — как бы тебе сказать?.. — я... «заелся». Так у нас говорят ярославские мужики про своего же брата мужика, который случайно разбогател, а следовательно, загордился, заважничал и захамил: «Чего моя левая нога хочет!» Вот про него-то и говорят: «Ишь, заелся, сладкомордый!» Видишь, друг, я не щажу себя.

С первых дней нашего знакомства я очень скоро и с восхищением убедился, что Мария го-

раздо выше меня — и интеллектом, и любовью к жизни, и любовью к любви. От нее исходила живыми лучами здоровья теплая, веселая доброта. Каждое ее движение было уверенно, грациозно и гармонично. Она была красива своей собственной оригинальной красотой, неповторимой и единственной. Разве я не видел постоянно, как пристально на нее глядели мужчины, и какими долгими, испытующими, ревнивыми взглядами ее провожали женщины, и как они по многу раз оборачивались на нее.

Я уже говорил тебе, что в первые розовые дни нашей любви я чувствовал себя перед нею и некрасивым и неуклюжим... Она для меня была богиня или царица, полюбившая простого смертного. Ее свобода еще более подчеркивала мою русскую стеснительность...

Но как бездонно глубока область интимных любовных восторгов. Ни для кого не проницаемая, альковная жизнь связывает двоих людей — мужчину и женщину — ночной эгоистической тайной; делает их как бы соучастниками сокровенного сладостного греха, в котором никому нельзя признаться, о котором, даже между собою, стыдно говорить днем и громко.

Эта сила любовной страсти побеждает все

неловкости, сглаживает все неровности, сближает крайности, обезличивает индивидуальности, уравнивает все разницы: пола, крови, происхождения, породы, возраста и образования и даже социального положения — так несказанно велика ее страшная, блаженная и блажная мощь!

Но в этой стихии всегда властвует не тот, который любит больше, а тот, который любит меньше: странный и злой парадокс!

* * *

Не знаю сам, когда и как это случилось, но вскоре я почувствовал, что проклятая сила привычки уничтожила мое преклонение перед Марией и обесцветила мое обожание. Пафос и жест вообще недолговечны. Молодой и пламенный жрец сам не замечает, каким образом и когда обратился он в холодного скептического хитреца.

Я не разлюбил Марию. Она оставалась для меня незаменимой, обольстительной, прекрасной любовницей. Сознание того, что я обладаю ею и могу обладать, когда хочу, наполняло мою душу самолюбивой, павлиньей гордостью. Но стал я в любви ленив, небрежен и часто равнодушен. Меня уже не радовали, не трогали, не умиляли, не занимали эти нежные словечки, эти ласковые,

забавные имена, эти милые, глупые шалости, все эти маленькие невинные цветочки насыщенной любви. Я потерял и смысл и вкус в них, они мне стали непонятны и скучны. Я позволял себя любить — и только. Я был избалованным и самоуверенным владыкой.

Но так же, как Марии не пришло бы никогда в голову мерить и взвешивать свою щедрую, широкую, безграничную любовь, так и я совсем не замечал перемены в моих отношениях к ней. Мне казалось, что все у нас идет по-прежнему, просто и ровно, как и в первые дни. Да. Постепенность и привычка — жестокие обманщицы: они работают тайком.

Но это еще не все. Та прежняя Мария, которой я еще недавно так любовался, Мария-друг, Мария-собеседник, Мария-спутник — «киль-хардаш», веселый, живой ее ум, прекрасный характер, светлая любовь к жизни, милость ко всему живущему — все это потеряло в моем сознании и пленительность и ценность. Скажу даже, что многое в Марии мне начинало не нравиться.

Было у нее, например, одно маленькое удовольствие: кормить лошадей. Для этого она всегда носила в сумочке сахар. Как увидит на улице серого, слоноподобного, огромного першерона,

сейчас подойдет к нему и безбоязненно протянет ему на плоско вытянутой маленькой розовой ладони кусок сахара. И добрый серый великан бережно нащупывает мягкими дрожащими губами белый кусок, возьмет, захрустит и отвешивает головой низкие поклоны. Тогда Мария, не глядя на меня, протягивала мне руку, и я должен был старательно вытереть ее носовым платком.

Эта забава всегда была для меня очень приятной. Но вот однажды, когда Мария, по обыкновению, подошла к лошади с сахаром, я ни с того ни с сего заартачился. Видишь ли, забава эта вдруг показалась мне слишком детской и, пожалуй, даже неприличной. «На нас смотрят!» И я сказал:

— Мария, я бы на твоем месте так не рисковал. У лошадей часто бывает сап. Легко можно заразиться.

Она быстро, удивленно взглянула на меня и бросила сахар.

— Хорошо, Мишика, ты прав. Я не буду больше.

И с тех пор она никогда не подходила к своим серым любимцам.

Потом вышел еще случай. Надо сказать тебе, что она никогда не подавала профессиональным нищим, но всяких уличных певцов, музыкантов, фокусников, чревовещателей, акробатов и дру-

гих бродячих артистов одаривала не по заслугам милостиво.

И вот однажды мы увидели на каком-то окраинном бульваре полуголого атлета в рваных остатках грязного трико. Он стоял на разостланном дырявом ковре, широко расставив ноги, растопыря опущенные руки, склонив воловью шею, и тупо глядел в землю. Железные гири, тяжелая наковальня, огромные дикие камни и кузнечный молот валялись около него. Собралась небольшая толпа ротозеев и безмолвно разглядывала силача и его тяжести. Щупленький, вороватого вида человечек в морском берете с красным помпоном, стоя посредине, выхваливал атлета: «Чемпион мира, король железа, мировые рекорды, почетные ленты и золотые пояса; личное одобрение принца Уэльского, орден льва и солнца!..»

Потом он останавливался на минуту, обходил круг зрителей с тарелкой, в которую скупо брякали медные и никелевые су, и опять принимался зазывать почтенную и великодушную публику.

— Подойдем поближе, — сказала Мария.

Я поморщился:

— Дитя мое, что ты находишь здесь интересного? Здоровенный детина, которому лень работать,

ломается перед бездельниками. И какая тупая морда у этого ярмарочного силача: наверное, прирожденный взломщик и убийца.

О, черт бы меня побрал! Откуда вдруг явилось во мне это благоразумие, эта брезгливость, эти гражданские чувства? Никогда раньше я в себе их не находил. Мария сказала:

— Пожалуй, ты прав, Мишика. Мне просто его жаль. Пойдем отсюда.

Но, прежде чем уйти, она быстро скомкала синюю кредитную бумажку и кинула ее в середину круга на ковер. Зазывальщик быстро ее подхватил и, отвесив Марии шутовски низкий поклон, закричал:

— Благодарю вас, бесконечно благородная дама, столь же прекрасная, сколь и великодушная. Дамы и господа, следуйте доброму примеру очаровательной герцогини!..

Вдобавок он еще послал нам обеими руками воздушный летучий поцелуй.

Я заторопился:

— Уйдем, уйдем поскорее. На нас смотрят.

Мне показалось, что она вздохнула... Или, может быть, зевнула?

Ах, милый, я наделал в эту пору глупостей и пошлостей без конца.

У нее, например, были свои «розовые старички». Так она называла те семьи, где осталось только двое стариков — муж и жена. А остальные перемерли или разбрелись по свету. Так и доживают старички свой век: оба седенькие, оба в одинаковых добрых морщинах, оба по-старчески розоватые и крепкие и трогательно похожие один на другого.

У Марии было две парочки таких «розовых старичков», у которых и деды и бабки были рыбаками и рыбачьими женами. Жили они в старом порту, и Мария нередко их навещала, всегда принося с собою подарки: теплые вязаные вещи, табак, ром от застарелых морских ревматизмов, кофе, чай и фрукты. Часто она брала меня с собою, и помню, с каким теплым удовольствием слушал я прежде ее неторопливую, умную и ласковую беседу со стариками, когда она сидела по вечерам у огня с какой-нибудь ручной работой на коленях. У нее был редкий дар доброго внимания, которое так естественно и мило располагает пожилых людей к любимым дальним воспоминаниям, о которых память еще свежа, а ненужные мелочи давно отпали.

Никогда она не уставала внимать этим морским наивным повестям — пусть уже не раз

повторяемым — о морской и рыбачьей жизни, о маленьких скудных радостях, о простой безыскусственной любви, о дальних плаваниях, о бурях и крушениях, о покорном, суровом приятии всегда близкой смерти, о грубом веселье на суше. От этих рассказов чувствовалась на губах соль: соль морской пены, соль вечных женских слез и соль трудового пота.

О, Мария, как ты любила эти бесхитростные рассказы. Недаром в тебе текла напоенная озоном кровь морских волков, флибустьеров и адмиралов, а в моих жилах течет медленная кровь сухопутного интеллигента!

Однажды я отказался сопровождать ее к «розовым старичкам», оправдываясь спешной работой. В другой раз отказался уже без всякого повода. Просто сказал, что мне не хочется.

— Они тебе не нравятся, Мишика, мои «розовые старички»?

— По правде сказать, не очень. Всегда одно и то же. Скучно. Да и не особенный я любитель моря, и морских рассказов, и морских стариков.

Ее нижняя губа нервно вздрогнула. Я понял, что Мария обиделась. Не на мою грубость, не за себя, а за своих «розовых старичков».

— До свидания, Мишика, — сказала она сдер-

жанно.

Сказала и ушла.

Глава XIII
Белая лошадь

Она сказала «до свидания», встала с персидской оттоманки и ушла быстрыми, легкими шагами.

Я думал, что она вскоре вернется, чтобы объяснить мне причину этого внезапного и резкого прощания. Я сидел и ждал. Она медлила, а я молча вспенивал, взвинчивал в своей душе ненависть. В этом мелком, беспричинном и бессмысленном озлоблении я уже готовил ей новые, ядовитые обиды. Я собирался высказать ей грубо мое мнение о ее благотворительных экранах и вообще о ее кустарной филантропии: «В основе все это ложь, фальшь и лицемерие. Это нечто вроде копеечных Евангелий, приносимых старыми английскими девами в тюрьмы и публичные дома; взятка Богу; свеча, поставленная перед иконой неумолимым ростовщиком, страховка трусливого богача против будущего народного гнева, а в лучшем случае, — это всего лишь детская клистирная трубка во время пожара...»

Я еще хотел рассказать ей об одной жестокой сцене, происшедшей между Львом Толстым и

Тургеневым и чуть не доведшей их до дуэли. Во всяком случае, после нее великие писатели остались надолго врагами. Во время завтрака у Толстых Тургенев с неподдельным восхищением говорил живописно о том, как английская гувернантка приучает его побочную дочку, Полину, к делам благотворительности.

— Каждое воскресенье, — умиленно говорил Тургенев, — они обе идут на самые жалкие окраины города, в хижины нищих, в подвалы бедных тружеников, на чердаки горьких неудачников... И там обе они смиренно и самоотверженно занимаются целый день починкой и штопкой их убогого белья. О, как это трогательно, прекрасно и просто. Не правда ли?

Тогда Толстой вскочил из-за стола, стукнул кулаком и воскликнул:

— Какое лицемерие! Какое ханжество! Какое издевательство над нуждой!

Тургенев ответил жестким словом и выбежал из дома. Дуэль едва-едва удалось предотвратить.

Но это не все. В душе моей кипели ревность и обида. Я готовился упрекнуть Марию ее всегдашним влечением к простолюдинам, к плебсу, к морским и уличным бродягам, к первобытной силе, к грубому здоровью, к чему всегда тянет

пресыщенных женщин, как тянуло, например, гордых римских матрон...

Но Мария не приходила... Друг мой! Она так и не вернулась... Не вернулась никогда. Послушай меня — никогда!

У меня хватило мужского самообладания: я одолел в себе страшное желание постучаться к ней в комнату. Я решил поехать к себе на завод. Завтра вечером, думал я, она заедет за мною. Тогда мы объяснимся. Может быть, я был не прав перед нею? Я могу извиниться. Женщинам надо прощать их маленькие причуды. А не приехать она не может. Это сверх ее сил. Любовь ее ко мне — это даже не любовь, а обожание.

С такими мыслями я проходил в переднюю мимо царственного, великолепнейшего павлина, переливавшегося всеми прелестными оттенками густо-зеленых и нежно-синих красок. Вдруг меня качнуло мгновенное головокружение, и я остановился перед экраном, чувствуя, по сердцебиению и по холоду щек и губ, что бледнею. В памяти моей вдруг пронеслись недавние слова Марии:

— У павлина нет ничего, кроме его волшебной красоты. Это существо надменное, мнительное, глупое и трусливое да вдобавок с пронзительным и противным голосом.

— Черт возьми! Не обо мне ли это сказано? Хорошо еще, что красотою я не блещу.

И очень поспешно сбежал я с винтовой дубовой лестницы.

Но на другой день моя влюбленная Мария не заехала и не дала ничего знать о себе и на третий день.

На четвертый день я, совсем унылый, робкий, покаянный, решился пойти на Валлон д'Ориоль. Сам себе я казался похожим на мокрого, напроказившего пуделя или на недощипанного петуха.

Мне отворила дверь эта проклятая змея Ингрид, эта бешеная колдунья. Я вошел в ателье и спросил:

— Дома ли мадам Дюран?

— Мадам Дюран уехала три дня назад. Но она приказала мне быть в вашем распоряжении.

Я спросил ехидно и сердито:

— Она мне подарила вас?

— Совершенно верно. Подарила до вашего или до ее распоряжения. Итак, господин, я готова вам служить.

Я ответил:

— Я нуждаюсь в вас, сударыня, менее, чем в ком бы то ни было на свете. Скажите мне ее адрес.

— Если бы я и знала его — все равно я бы не

сказала вам.

И какие дерзкие, какие ослепительно гневные глаза выпятила на меня эта белокурая дьяволица, эта маленькая, никогда не доступная моему пониманию помесь ангела с чертенком!

— Вы свободны! — так я крикнул ей и побежал. На бегу мелькнул мне боком в глаза блистательный павлин. От злобы и отчаяния, душивших меня, я невольно, но очень громко хлопнул дверью, и когда лестница вся загудела, я успел расслышать голос маленького чудовища:

— Imbecile![Дурак! *(фр.)*]

Мария по-прежнему не давала о себе знать. Наконец недели через две я получил от нее письмо.

> «Милый Мишика, благодарю тебя за то великое счастье, которое ты мне дал. Все это время я думала о тебе, о себе и о нашей любви. Бог знает каких усилий мне стоило, чтобы не сорваться, не полететь к тебе первым попавшимся поездом. Наконец я поняла, что нам нельзя жить ни вместе, ни близко друг от друга. Что-то есть в нас такое, что постоянно разъединяет нас и мешает нам жить в полном счастии, а всякие поправки, всякие новые

пробы и испытания повлекли бы новую и все более сильную вражду. Пишу тебе из маленького городка „Белая Лошадь“. Я ошиблась, когда воображала его в таком поэтическом и величественном виде. Здесь почти две тысячи жителей, английские отели, проводники, живописные виды, фотографы и даже лаун-теннис. Завтра я покидаю Европу. Мы больше не встретимся, и мой дружеский совет – забудь обо мне совсем и как можно скорее.

Прощай. Целую тебя.

Твой друг Мария».

И постскриптум:

«Я знаю, ты некорыстолюбив и горд, но если тебя постигнут нужда или несчастие, обратись от моего имени к директору завода г. Ремильяк. Он охотно придет тебе на помощь.

М.».

Вот так-то все кончилось, мой старый дружище... Ничего... Я покорен велениям судьбы... Колеса времени не повернешь обратно... Живу

по инерции. Но одна, одна мысль не дает мне покоя: почему я не умел любить Марию так просто, доверчиво, пламенно и послушно, как любил ее матрос Джиованни, этот прекрасный суперкарго? Да! Из разного мы были теста с этим итальянцем.

Или в самом деле меня сглазил проклятый павлин?

(1929)